Глава I

Томский купец Петр Иванович Макушин возвращался из Петербурга в полном здравии и довольстве. Все намеченные сделки − и в столице, и в первопрестольной − были исполнены с превышением.

Вслед за его легкой тележкой на рессорах двигались семь подвод в разнопряжку с грузом. На пяти телегах, в тюках, упрятанных под брезентовыми пологами, лежали книги и бумаги. А на последних двух − ящики с новыми типографскими шрифтами.

«Хорошо-то как обернулось, − улыбаясь в пышную бороду, думал Макушин. − Книги на все вкусы! Есть что интеллигентам предложить − Шекспир и Шиллер, Бальзак и Золя, Толстой и Тургенев, и простонародье не в обиде − буквари, русские сказки, лубки в красочных разводах. А уж как будут радехоньки наши сибирские писаки, узнав о новых шрифтах и штампах. Да и старший приказчик, человек образованный и обходительный, вызовет наверняка восторг у томской публики».

Макушин перевел взгляд на рядом сидевшего юношу. Это был Северьян Архипович Шубников, воронежский мещанин, земляк любимого Макушиным поэта Алексея Кольцова, которого нанял купец на должность старшего приказчика-книговеда.

Шубников был рекомендован томскому купцу московскими владельцами книжных заведений Петром Глазуновым и Иваном Сытиным с самой лестной характеристикой: юноше лишь двадцать три года, образование не превышает классической гимназии, но знаний редкостных, и, кроме русского, силен во французском, при необходимости и перед немецким с аглицким не растеряется, а особо мастак по исторической и изящной книге, и что касается прилежания, любви к делу, то оное свыше всяких мер.

− Боже мой, какие просторы, каков размах! Смею уверить вас, Петр Иваныч, подобного не приходилось наблюдать даже в степях донских! − сказал Шубников.

− Да-с, милостивый государь Северьян Архипыч, уж как вы правы! Ширь истинно необъятная! − радуясь, что Сибирь производит на свежего человека сильное впечатление, воскликнул Макушин.

− А как зовется эта местность, позвольте полюбопытствовать?

− Барабинская равнина. Но это, так сказать, по книгам, а в просторечии − Бараба. И обратили ли вы внимание, какой здесь тучный скот, сколько тут добра на крестьянских усадьбах?

− Приметил, Петр Иваныч, как не приметить! И даже подумал: как только чугунка протянет свои рельсы через эти просторы, отчаянно буйная жизнь начнется в этом краю.

− Бесподобная жизнь, Северьян Архипыч, право слово бесподобная предначертана. И книг сюда потребуется − море безбрежное! Просвещение народа − великая и благородная цель. И попомните мои слова − многие прославят на этом поприще свои имена.

Ямщик, ловко сидевший на облучке тележки, то и дело посвистывавший на пару гнедых, обернулся на слова купца и, зная покладистый его характер, вставил свое:

− А покеда, Петра Иваныч, время то наступит, крестов тут еще поприбавится...

– То есть как это крестов? – недоуменно поводя плечами под поношенным дождевиком, чуть испуганно спросил Шубников.

– Что, Прохор, снова смертоубийство было? – спросил Макушин.

– В ночь под Троицу за две версты до Малоубинских хуторов обоз с чаем подрезали. Трех мужиков запороли насмерть, двух искалечили. Товар, конечно, на лодки перегрузили, спрятали на той стороне озера, в камышатнике.

Да кто же туды сунется?! Ни подхода, ни подъезда. А все ж, сказывали ямщики на постоялом, что не за чаем варнаки охотятся. Золото, мол, в Мартайге скопилось, вот-вот должны в цареву казну везти...

– Стало быть, преступный мир… – заволновался юноша.

– Что есть, то есть, Северьян Архипыч, – спокойно прервал его Макушин, будто предугадывая вопрос. – Сами посудите: громадное количество ценностей движется с окраин державы в центр... В цивилизованной стране правительство взяло бы все это под тщательную охрану, а нашему другая забота: как приглядеть за ссыльными, да как этапы до каторги доставить. На это и денег не берегут, и войск не жалеют.

– Странная держава, – поеживаясь, сказал Шубников.

Купец заметил движение плеч своего старшего приказчика, расценив это как проявление робости. Он степенно погладил бороду:

– Но не извольте беспокоиться, Северьян Архипыч. Мой товар у варнаков не в почете. Чтобы его сбыть, надо трижды постараться, а им недосуг. Да и сам я известен тут каждому разбойнику семьдесят семь раз.

– А почему это семьдесят семь раз? – спросил Шубников, приметив в раннем вечернем сумраке далекий-предалекий огонек, настороженно мерцавший в степной дали.

– А потому, Северьян Архипыч, что еду я по этим местам туда-сюда уже в семьдесят седьмой раз.

– И все по торговым нуждам в столице? – осведомился Шубников.

– Многократно, но не только в столице, случались дела и ближе – и в Омске, и в Перми. А особливо часто – в Ирбите. Знатная там ярмарка!

– Петра Иваныч, верховые нагоняют нас, – кинул через плечо ямщик.

Макушин обернулся, вытянул шею, сдвинул широкополую шляпу на затылок, стал всматриваться в даль:

– Не вижу никого, Прохор!

– Я не вижу, однако слышу, Петра Иваныч, топот копыт, – подставляя ухо под порывы легкого ветерка, сказал ямщик.

Насторожился и Шубников. Напряженно вскинул голову и стал осматривать степное раздолье, изрезанное увалами, будто морскими волнами.

– И я не вижу, – заключил он, но тут же добавил: – А вот слышать – слышу.

– Ну, бог с ними, с верховыми. На то он и тракт, чтобы по нему пешие и верховые сновали, – успокоил Макушин ямщика с Шубниковым. – Погоняй-ка веселее, Прохор!

Ямщик пронзительно засвистел, вскинул ременный бич, задергал волосяными вожжами:

– Но-но, соколики!

Тележка заскрипела рессорами, из-под копыт лошадей полетели куски слежавшейся земли, пропитанной недавним обильным дождем.

И тут откуда-то слева, с той стороны, где сидел Шубников, послышался повелительный голос:

– Эге, господин Макушин! Немедля придержи коней!

Кони не успели еще встать, а тележку окружили семь верховых полицейских. Макушин соскочил с тележки и тут же осел назад, опасаясь быть опрокинутым грудью жеребца, из ноздрей которого летели брызги пены.

– Василь Василич, что за надобность нагонять меня?! – воскликнул Макушин, подбирая ноги в бизоньих сапогах.

На вороном жеребце сидел давний знакомец Макушина, каинский уездный исправник, штабс-капитан Шароглазов.

– Извиняй, Петр Иваныч. Как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Только ты изволил со своим обозом покинуть постоялый двор, а тут депеша из Омска с неукоснительным предписанием: московский полицмейстер приказал произвести тщательный досмотр твоих товаров в целях выявления недозволенных предметов, относящихся к религиозным культам старообрядцев. Исправник слез с коня, кинул поводья младшему чину.

– Что? Василь Васильевич, то ли слышу?! – Макушин вылез из телеги и встал прямо в лужу.

– А то самое, Петр Иваныч, – хмыкнул исправник, счищая рукояткой ногайки с брюк кусочки налипшей грязи.

– Да ты не шутишь ли?

– И рад бы пошутить, а не могу. Приказано учинить досмотр немедля, в любом и самом неожиданном месте, и непременно до того, как твой обоз достигнет томских пределов.

– Чем же, право, я вызвал этакую немилость? И кто позволил поставить меня под такое подозрение?! Я пекусь о просвещении народном, а меня готовы обвинить в измене православию. Нет, ваше благородие, этого я без последствий не оставлю.

Макушин все больше накалялся, голос его становился громче, руки взлетали выше головы малорослого исправника.

Шароглазов отступил от купца, заволновался до хрипоты в горле:

– Петр Иваныч, дражайший мой, я же подневолен! Мое дело исполнить приказ и донести, что в обозе томского купца Петра Ивановича Макушина предосудительных предметов не обнаружено... Сам-то я в этом не сомневаюсь, знаю ваше честное имя, прославленное повсеместно по сибирскому тракту.

– В самом деле, Петр Иваныч, может быть, не стоит все происходящее принимать так близко к сердцу? – вполголоса сказал Шубников, склоняясь к Макушину. Купец внимательно посмотрел на него и будто бы увидел на худощавом лице юноши какие-то знаки, призывающие к спокойствию.

«Впрочем, и то понять надо: сколько лет полиция воюет с раскольниками, а до победы далеко. Ну, и пусть бы себе веровали, как хотят, так нет, надо травить людей, как волков при облаве», – подумал Макушин, а вслух сказал:

– Понимаю твое положение, Василь Васильевич. Понимаю и сожалею. Со-жалею!

– Ну, вот и славно, Петр Иваныч! Твое сочувствие моему положению весьма меня утешает. Не первый раз московская полиция порывается подавить раскольников. А будто не знают, что самые именитые купцы в Москве – староверы. Одной рукой задаривают полицию, а другой шлют в сибирские скиты вспомоществование. Попробуй-ка одолей их!

– А позволь, Василь Васильевич, все-таки осведомиться, как намерен ты произвести досмотр? Книги упакованы в пачки, сложены в ящики, а ящики обшиты брезентом... Работы, поверь, дней на пять. А к тому ж, Василь Васильевич, мое дело торговое, оно не терпит пустой траты времени. Оборот, извини, как водоворот, крутится неостановимо...

Макушин хотя и был еще возбужден, но говорил уже более рассудительно.

Исправник понимал: дело, которое ему навязано свыше, это больше для отвода глаз от каких-то иных дел, более важных. Уж если петербургские или московские власти затеяли новый поход против старообрядцев, то не здесь бы им учинять поверку обозов, а стоять на стрёме там, где обозы загружаются. Но, как говорится, скворец хоть и шустрая птаха, но каркать на всю округу ему Богом не дано. Шароглазов покрутил головой, покрякал, мучительно поморщился:

− Не первый год знаю тебя, Петр Иваныч. Твое честное слово − мне дороже досмотра. Я вот только для блезира подводы осмотрю, чтоб в рапорт внести: самолично, мол, проверил, при самом владельце товара. Годится? Или как еще иначе?

− Ну, вот это подходяще, Василь Васильевич. И спасибо тебе на добром слове, я ведь твоим должником не останусь, − повеселел Макушин и повернулся к Шубникову: − Вишь, какое доверие мне, Северьян Архипыч, − в голосе его прозвучали нотки гордости.

− Истинно, Петр Иваныч, диковинная держава Россия, − тихо сказал Шубников, однако исправник услышал его слова, воспринял их как похвалу и себе, и всем властям предержащим.

− Да разве ж мы турки! Разве не понимаем, что к чему! − Он расправил плечи, становясь перед Макушиным во фрунт, будто на плацу.

…Шароглазов подходил к каждой подводе, запускал руки под брезент, ощупывал ящики и тюки, иногда вытаскивал что-нибудь, встряхивал и громко, чтобы слышали нижние чины, говорил:

− Исправно! Исправно! Все согласно царскому закону.

…Вечер опускался на Барабу ласковый, теплый, с запахами степных трав, вступивших в пору созревания, и свистом крыльев утиных стай, спешащих на ночевку на бессчетные барабинские озера.

Глава 2

Томск удивил Шубникова. Старший приказчик, привыкший к шуму и многолюдью Москвы и Петербурга, полагал, что жить ему отныне предстоит в деревне, ну, а если и не в деревне, то, по крайней мере, в каком-нибудь городишке вроде волостных станиц Верхнего Дона.

А тут, на тебе, город! Да какой! И там и здесь сияют золотыми маковками церкви и соборы, на главной улице − Почтамтской, сплошь каменные здания − одно солиднее другого. На пристани − кирпичные пакгаузы, дебаркадеры, белобокие пароходы. Куда ни кинь глаз − магазины, рестораций, трактиры, гостиницы. Базарная площадь кишит с утра до ночи многоликой толпой. Кого тут только нет! Купец купца погоняет; чиновники в форменных мундирах и картузах, как гусаки с вытянутыми шеями, шмыгают туда-сюда; крестьянский люд на телегах с разной снедью, а в устье речки Ушайки и на берегу охотники и рыбаки с дичью, с рыбой на любой вкус: чебак, щука, окунь − для простонародья, а для тех, кто побогаче, − муксун, нельма, стерлядь, осетр.

Правда, фруктов нет, но зато ягод местных немерено − земляника, черника, голубика, брусника. Хочешь, бери на вес, а хочешь − корзинами или берестяными расписными туесами, или кадушками, сбитыми из кедровых плашек. И медов тут всяких хоть отбавляй: сотовый, корчажный, гречишный, кипрейный, луговой, свежий прямо из улья или же перезимовавший с засахарившейся крупинкой. Сладкий запах медовых окладов плывет по базару, аж голова кружится.

Шубников поколесил между лавок и телег, порасспросил что почем, и поди-

вился: несравнимо дешевле, чем в России, и, пожалуй, побогаче даже. Вот тебе и Сибирь! А уж как его пугали: хлеб, мол, только ржаной, овощь растет не всякая − солнечного тепла не хватает, скот малорослый, малоудойный, а коровье молоко и вовсе как вода, кормов что летом, что зимой в обрез, да и разве кормом назовешь осоку да камыш. «Как уж люди страх нагнать любят, как охочи до всяких придумок», − усмехнулся про себя Шубников.

Зашел он в городские магазины и лавки. И тут полки от добра ломятся: ситцы и шелка со всего света − японские, китайские, корейские, индийские, с Явы и Формозы, с Цейлона и Макао, ковры из Персии и Турции, Дамаска и Багдада. Одежда и обувь на любой фасон, и не только московские да петербургские, а из самого Парижа или из Англии, из чистой манчестерской шерсти, отборного длинноволокнистого хлопка, отменной китайской чесучи. А...

«Разворотлив сибирский купец, смекалист, удачлив. Не сидит сложа руки», − думал Шубников. Но больше всего удивил его университет, окруженный роскошной рощей, с посыпанными красным песком дорожками.

Макушин, отдавший Томску не только много средств, но и душу, пожелал сам сопроводить Северьяна Архиповича в эту часть города. Они сели в пролетку и покатили к университету. Пока ехали от торгового дома купца Второва, Макушин кивал мохнатой головой налево и направо: с тротуара улицы его приветливо поздравляли с возвращением знатные томские горожане. Среди богатых людей города Макушин со своим капиталом занимал далеко не то место, что владельцы приисков, нажившие огромные деньги на добыче золота. Но уважали Макушина гораздо больше, чем всех остальных купцов. Каждый житель города понимал, что капитал Макушина имел происхождение чистое, так сказать, благородное, и невозможно было представить его имя замешанным в какой-нибудь афере, что нередко случалось с другими купцами.

…Главный университетский корпус Шубников сравнил с белым лебедем в дреме: крылья раскинуты в полный размах, голова приподнята и замерла. Величественное здание, фасад которого вызывал в памяти царские дворцы.

− Прямо как в столице! Нет, пожалуй, даже лучше! − восхищенно воскликнул Шубников.

− А вот в этом здании – книги. Можно сказать, тут их средоточие, − Макушин вытянул руку в сторону университетского книгохранилища.− А пройдет еще годок-другой, и новое здание будет возведено. Вот здесь, вдоль улицы.

− Воистину сибирские Афины, Петр Иваныч! Не ожидал такое увидеть, не догадывался даже, что такое возможно! Коленопреклоненно думаю о людях, воздвигших эти чертоги. И где?! В стране холода и мрака.

− А вот насчет холода и мрака, Северьян Архипыч, это уж явное преувеличение. Право же, это совсем не так. Вот поживете, увидите и сами станете поборником Сибири. Нет, Томск − счастливейшее место на земле.

− Уж как вы любите этот город, Петр Иваныч! Вам бы о нем в стихах рассказывать...

− Хорошо бы! Но Господь таланта не дал. А без таланта поэзия как день без солнца.

Они неспешно обошли университетскую рощу, осмотрели стеклянные павильоны недавно открытого Ботанического сада. Никто им не мешал. Студенты были на летних вакациях, а профессора − в отпусках, кто на европейских водах, а кто-то в дальних путешествиях по Сибири в поисках тайн, скрытых в ее недрах. Правда, нет-нет, а из-за черемуховых кустов выглядывали недремлющие служители. Настороженно оглядывали путников, но, узнав Макушина, срывали картузы, отвешивали поклоны и снова скрывались в кустах.

− Мир вам и благоденствие, добрые люди! − кивал им в ответ купец, уважительно относящийся к каждому независимо от ранга и чина.

Когда они сели снова в пролетку, Макушин сказал ямщику:

− Довези-ка нас, Ермолаич, до Лагерного сада, пусть новый человек поглядит на наши красоты.

Застоявшийся жеребчик в серых яблоках рванул рысью и, хотя надо было одолеть крутой подъем, не сбавил хода. По прямой улице, застроенной каменными и бревенчатыми домами, они выехали за город и углубились в березняк. Березы были как на подбор − белоствольные, прямые, кудрявые.

Поваленных или с поломанными ветками деревьев было не сыскать. Земля между березами прибрана, кое-где вскопана, кое-где примята. И трава подсеяна, прочесана граблями.

− Этот парк, Северьян Архипыч, наша гордость. Зовется − Лагерный сад.

− Почему Лагерный?

− А потому, что воинские команды становятся здесь летом на лагерное обучение. Впрочем, и армейским, и обывателям места тут вполне хватает, но и те и другие берегут каждую травинку, каждую веточку.

Вдруг березняк расступился, и пролетка остановилась на круглой как колесо площадке. Отсюда открывался такой завораживающий вид, что старший приказчик рот открыл. В десяти шагах от пролетки берег, изогнутый подковой, круто обрывался. Внизу темнела упругая прозрачная вода. Река текла неспешно и величаво. Противоположный берег курчавился оторочкой тальника и черемуховых кустов, а уже за ними тянулись ровные, без единого холмика зеленеющие луга. Только далеко-далеко, едва просматриваясь, чернела полоса, отсекавшая землю от неба. Там начинались знаменитые томские хвойные леса − кедровые дачи, сосновые боры, непролазные пихтовые и еловые чащи.

− Петр Иваныч! Какие же чудеса сотворил Господь нам на радость! − воскликнул Шубников, втягивая дрожащими ноздрями ошеломляющий запах реки и лугов.

− Эге, вот и вас тронуло! Никто еще, ни один человек не оставался на этом месте равнодушным... А вы говорите хлад да мрак. − Макушин хитровато сощурился, поглаживая пушистую бороду.

− Да, Петр Иваныч, да! Бараба удивила меня, а Томск ошеломил, − бормотал Шубников.

− И пусть поживется вам здесь на славу, Северьян Архипыч! Добра и счастья вам сто коробов!

Глава 3

Шубников поселился у вдовы старшего акцизного контролера Купрякова Агафьи Степановны в ее собственном доме. Та охотно приняла его на полный кошт и велела открыть дверь на веранду, что позволяло Шубникову иметь отдельный выход из дома во двор. Было и еще одно немаловажное удобство: дом Агафьи Степановны стоял в тихом не замощенном переулке, заросшем подорожниками, одуванчиками и лопухами, и отсюда до главного макушинского склада было от силы триста шагов.

Макушин еще по дороге в Томск приглашал Шубникова поселиться у него в квартире − помещений было предостаточно, но старший приказчик, поблагодарив за любезность, решительно отказался от его предложения.

− Не почтите, Петр Иваныч, за небрежение, а только предпочитаю я жить отдельно. По странности моего характера склонен я к ночным занятиям.

Это было правдой, но не всей до конца. Было еще одно соображение у Шубникова. Вместе с Макушиным проживали две дочери: Елизавета Петровна и Викто-

рина Петровна, пребывавшие в зрелом возрасте и обладавшие по беглым отзывам родителя «несравненной внешностью».

Потому Шубников решил оберечь себя от неожиданностей, так как на этот счет имел свои представления и даже некоторые намерения. В Воронеже у него была невеста, на которую еще в малолетстве пал его выбор.

Через неделю после приезда Макушин пригласил старшего приказчика к себе в кабинет и, усадив у письменного стола, заваленного бумагами и книгами, вежливо и уважительно сказал:

− Думаю, Северьян Архипыч, вы уже осмотрелись на новом месте, и коли ничего не имеете против, просил бы вас на будущей неделе, а именно в четверг, встретиться в моем торговом зале с обществом томских интеллигентов. Встречи эти я провожу давно. Приходят любители книг, поборники грамотности и просвещения. За чашкой чая беседуем или читаем стихи, если таковые, конечно, имеются у наших пиитов, − он усмехнулся в усы. − Было бы замечательно, если вы на этой встрече дадите обзор новинок, привезенных из столиц. И, кстати, вас люди узнают, и вы познакомитесь с образованной частью нашей публики.

Обзор книг был прямой обязанностью Шубникова, и потому он кивнул головой.

− Как прикажете, Петр Иваныч.

− Итак, в будущий четверг, в шесть часов пополудни, − уточнил Макушин.

В четверг у Макушина собрались все те, кого торговый и купеческий люд именовал «грамотеями». На диванах, в глубоких креслах, на стульях с изогнутыми спинками расположилось человек тридцать. Дамы в изысканных нарядах из первоклассной чесучи и парчи, громко шуршавшей при малейшем движении. Наряды эти, пусть и пошитые в Томске, едва ли уступали столичным. Местные портные и модистки выезжали в Москву и Петербург, а некоторые и в Париж, где обучались хитростям прославленных мастеров. Томские вывески модных ателье были полны неожиданных признаний: «Дамы, все для вас по моде Елисейских Полей», «Пальто и фраки не хуже, чем в Санкт-Петербурге»…

Были среди женщин и особы заметно моложе и одетые куда скромнее. Эти не были ни женами профессоров, ни начальницами женских гимназий, ни дочерями городского головы или полицмейстера. Это на вечер пришли слушательницы курсов по подготовке учителей для школ, которых понастроил купец Макушин по селам вдоль Сибирского тракта. Потому и воспринимали они каждое слово Петра Ивановича как величайшее откровение.

Помощник прокурора, начальник почтамта и главный лесничий томских пригородных дач пришли в мундирах. Другие были в костюмах без жилеток, а некоторые – с бородами и стриженные под горшок − и вовсе в косоворотках, подпоясанных ремешком.

Петр Иванович объяснил предмет собрания и порекомендовал почтенному обществу Шубникова. При этом он часто посматривал на одинокого человека, сидящего у окна. Облокотившись о белый подоконник, положив ногу на ногу, тот с затаенной усмешкой в ярко-синих глазах слушал Макушина. Шубников понял, что этот рослый синеглазый господин с пушистой бородой для Макушина значит немало.

− Итак, господа, привез я на этот раз семь телег разного товара. И книжные поступления мои для разных интересов и возрастов, − сказал Макушин и, взглянув снова на синеглазого, добавил, обращаясь именно к нему:

− А коли оборот позволит, Ефрем Маркелыч, то осенью в Большой Жировой непременно школу заложим.

Тот, к кому обращался купец, довольно закивал кудрявой головой и громко, без тени смущения перед томскими «грамотеями», сказал:

− Мост бы еще через реку, Петр Иваныч, надобен. Детвора-то больше все по заимкам проживает. А место для моста я присмотрел. Меж тех утесов, если помните.

− Помню-помню, Ефрем Маркелыч! − Макушин секунду помолчал и жестом пригласил Шубникова:

− А теперь Северьян Архипыч нам кое-что расскажет.

Шубников начал не очень уверенно. Голос его подрагивал, и он то и дело откашливался. Еще бы, это был первый выход перед томской публикой, от которого зависело, какое мнение сложится о нем. Но вскоре он овладел собой.

− Петр Иванович уже изволил заметить, что богаты и разнообразны новые поступления в его книжные магазины. И прежде всего отмечу книги Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Кольцова... Причем каждая из них своеобразный шедевр не только по содержанию, но и по степени прилежания художников, сумевших придать им некую магнетическую форму, сопроводив каждую великолепными рисунками. Они притягивают к себе, их не хочется выпускать из рук. Это, конечно же, Иван Сергеевич Панов, Николай Николаевич Каразин, Александр Алексеевич Агин, Евстафий Ефимович Бернадский…

Шубников забыл о волнении, рассказывая о писателях и художниках, дополняя общие характеристики интересными подробностями и оригинальными личными оценками. Речь его становится все сочнее, увереннее.

− Петр Иваныч! Где же вы нашли такое чудо? Это же мастер словесности! − прошептала на ухо Макушину начальница женской гимназии, глядя сквозь пенсне на Шубникова.

«Да он и впрямь своих денег стоит», − кивая головой начальнице гимназии, подумал Макушин, с досадой вспомнив вдруг о минутных колебаниях при найме старшего приказчика в Петербурге.

Шубников сделал паузу и не спеша продолжил:

− Раздел изящного искусства, господа, гораздо шире, чем возможно очертить в кратком слове. Право, нет у меня тех слов, которые достаточно представили бы все достойные произведения русской изящной словесности, однако глубокоуважаемый Петр Иванович не оставил без внимания также пристрастия тех, кому небезразлично европейское литературное творчество. Теперь в книжных магазинах Петра Ивановича Макушина в достаточной мере представлены Оноре де Бальзак, Эмиль Золя, Ги де Мопассан, Чарльз Диккенс! Их книги, способные очаровать каждого, занимают в новом поступлении весьма и весьма заметное место.

Однако я разочаровал бы и тех из вас, господа, кто остается поклонником строгой науки, посвятив себя изучению ее премудростей, если бы не сообщил, что и вы найдете то, чего ждали. Например, прелюбопытнейшую книгу французского астронома Камилла Фламариона «Множественность обитаемых миров» и, что особо примечательно, книгу немецкого экономиста Карла Маркса под названием «Капитал», привлекшую особое внимание в Петербурге. Теперь, господа, она есть и в Томске.

− Ха, «Капитал»! О чем же, Северьян Архипыч, сей труд? Как стать богатым или про что-то более занимательное? − подал голос Ефрем Маркелович. Розовощекое лицо его отражало насмешливое любопытство.

Шубников не подал виду, что перебивать его не следовало бы. Но он увидел, что Петр Иванович ласково смотрит на гостя, степенно поглаживая бороду, и понял, что хозяин реплику Ефрема Маркеловича считает вполне уместной. Шубников, сделав легкий поклон в сторону гостя, сказал:

– Если обобщить, то эта книга о том, как и по каким законам формируется капитал, как он обретает дьявольскую силу и как порабощает людей.

Предчувствуя, что Ефрем Маркелович готов задать еще вопросы, он опередил его ироничное любопытство.

– Книга «Капитал» столь сложна, что требует и значительной подготовки, и прилежного изучения. Я же, не владея фундаментальными знаниями экономики, ограничусь лишь этой краткой характеристикой...

Потом Шубников рассказал и о букварях для сельских школ, и о лубочных картинках для крестьян, которые книгоноши Петра Ивановича развозили по деревням Сибирского тракта. Наконец, Шубников вытер пот со лба ослепительно белым платком и завершил свое выступление благодарностью за внимание, изящно извинившись за, так сказать, шероховатость стиля.

Раздались аплодисменты и общий гул одобрения. Петр Иванович, сощурив глаза, осмотрел зал, отметив раскрасневшиеся лица курсисток, блаженную улыбку начальницы женской гимназии, расслабленность позы помощника прокурора, воодушевление на лицах молодежи.

«Всем на этот раз угодил! Для всех товар доставил!» – с гордостью подумал Макушин и громко объявил:

– Господа! Пожалуйте на чаепитие. Наш земляк Африкан Голь-Перекатный обещал познакомить нас со своими последними творениями!

…Собравшиеся разбрелись по торговому залу. Разом послышался шелест страниц, а кое-где восторженные реплики тех, кто обнаружил нужное им. Воистину среди чудес человеческого разума, может быть, самое удивительное – книга.

Глава 4

Разошлись чуть ли не за полночь. Шубников поспешно направился к своему дому. Но едва завернув за угол, столкнулся с Ефремом Маркеловичем. Экий быстрый! А ведь с виду нетороплив и, пожалуй, даже тяжеловат в движениях.

– А я вот поджидаю тебя, Северьян Архипыч. Ну, братец мой, позволь признаться! Доводилось мне слыхивать у Петра Иваныча грамотеев-краснобаев, а уж ты всех выше. Петр Иваныч наш – душа добрая, козявку зазря не обидит, вокруг него всяких встретишь – и стоящих, и трепачей первостатейных… Ну, слышал ли ты этого Голь-Перекатного? И это поэзией называется? Муть зеленая! Убей меня, но ни слова не запомнил. То ли дело Некрасов! Аж слеза в сердце закипает... А самто Макушин понимает, чего стоит этот Голь-Перекатный? Ему же пятак в базарный день, а ведь, вишь, приходится ладить и с такой шантрапой, чтоб все было чин по чину, как в Петербурге. Да и сам, небось, видел, как глядят на него эти особы из гимназий. Прямо жаром пышут, что печи голландские...

«Зачем он все это мне говорит?» – недоуменно подумал Шубников, однако, вспомнив, как почтителен был с ним Макушин, осторожно ответил:

– Ну… я бы не был, Ефрем Маркелыч, столь резок в оценке его стихов. Все-таки поэт местный и, понятно, самодеятельный. И сравнивать его с нашими знаменитостями не совсем, скажем, ловко. Но ведь нельзя не отметить и его наблюдательность, и благородство чувств. Как трогательно описал он бродягу... Нет, Ефрем Маркелыч, тлеет в нем искорка, что ни говори...

Лампа уличного фонаря угасала. Шубников с трудом различал лицо Ефрема Маркеловича. А так хотелось разглядеть в его глазах, что же он задумал? Такой впустую слов тратить не будет.

– А бог с ним, с этим Голь-Перекатным! Может быть, и в самом деле несправедлив я. Пусть себе строчит галиматью. Вреда особого нет, и на том спасибо.

− Я хочу тебе, Северьян Архипыч, совсем о другом сказать. Приезжай-ка ко мне в Подломное ближе к осени. По нашим местам в эту пору сухо, солнечно. И в тайге к тому времени поспеют и орехи, и ягоды. Дичь сама в руки идет, что боровая, что озерная. И рыбалка с добром! Приезжай! Книги − дело головоломное, от них и свихнуться недолго. А я тому уже поспособствовал. Спросил Петра Иваныча, старшого-то: намерен ли по тракту пускать или при себе держать будешь? Ну, а он, мол, с какой такой стати все время при себе держать? Пускай, говорит, посмотрит округу. И непременно, сказал, в поездку по тракту отправлю, коли сам не откажется. Надобно, говорит, школам и библиотекам моим ревизию навести, как и что там? Не раскуривают ли мужики книги, не обижают ли учителей, в достатке ли еды у них. Все ведь они нищие, у иной учительницы к зиме и обуться не во что, и плечи прикрыть нечем. А Петр Иваныч – он заботливый, сам из таких вот вышел.

А уж ты, Северьян Архипыч, непременно доволен будешь. Домик у меня в Подломном просторный, и заимка поблизости есть. Там совсем рай. Есть где и дух перевести, и телу отдохнуть...

Шубников подумал с облегчением: «А я-то вообразил невесть что! А человек ко мне с почтением и добром. Что же я такой мнительный?»

− Спасибо, Ефрем Маркелыч! – поблагодарил Шубников. − Коли будет дело по хозяйскому повеленью − не откажусь, любопытствую посмотреть сибирскую тайгу в натуральном разрезе. Заманчиво весьма…

Шубников поймал в темноте руку Ефрема Маркеловича, крепко пожал ее. И тот напоследок сообщил:

− Ну, я еще разок-другой объявлюсь. Петр Иваныч, дай Бог ему здоровья, еще одну школу на тракте решил построить. А по мне – так лучше десять! Топоры у моих плотников вострые, всегда наготове. До встречи, Северьян Архипыч! Я-то раным-рано уеду, чтоб до жары подальше проскочить…

Он исчез в ночи. И только скрип его сапог в галошах долго еще доносился из темноты.

Нет, положительно Петр Иванович Макушин великолепный человек! Служить у него одно удовольствие. Никого не унижает, ни перед кем не старается выставить свое превосходство, достаточно строг в делах, но любит и посмеяться, и пошутить − нередко и сам над собой. С Шубниковым держится настолько учтиво, почтительно, что временами кажется, будто не он, Макушин, голова всему предприятию, а как раз Шубников.

В конце августа опять заявился в Томск Ефрем Маркелович, как всегда ,громогласный, пышущий здоровьем, в неизменных сапогах с галошами, в тройке с плисовой поддевкой и шляпе пирожком.

Макушин уединился с ним в своем кабинете. Долго о чем-то они разговаривали, а потом хозяин позвал Шубникова.

− На совет просим, Северьян Архипыч, − сказал он, озабоченно поглядывая на Шубникова. Макушин придвинул стул, пригласил старшего приказчика присесть:

− Планируем мы тут с Ефремом Маркелычем, что робить дальше. И вот что получилось. Благодаря вашему прилежанию книг и учебных пособий за это время мы продали в два раза больше, чем в прошлом году. И потому решил я построить не одну школу, как замышлял, а сразу две: в Большой Дороховой и в Малой Жирове. Вот и Ефрем Маркелыч говорит: так куда ловчее со всех сторон...

− Еще бы! − воскликнул тот, сверкнув синими глазами. − И лес, получается, со скидкой продадут, и кирпич с железом обойдутся дешевле, да и плотники уступят. Как-никак не один дом рубить, а два. А переехать с места на место я им подмогну.

Дам двух коней да пару телег... Даю слово, Петр Иваныч, на будущую осень пойдет детва в школы.

− Уж постарайся, Ефрем Маркелыч! До кой же поры плодить будем неграмотных?! Сибиряки-то чай не хуже других? Им тоже свет просвещенья нужен.

− Похвальны ваши заботы, Петр Иваныч. Знаю, что люди не забудут ваших стараний, − сказал Шубников, понимая, что хозяин не ищет в новом начинании никакой особой корысти.

− И непременно, Северьян Архипыч, библиотеки при школах откроем. По сотне книг в каждую пошлем. Пусть и дети, и взрослые читают для просвещения ума своего.

− Ну, что же, с этого дня и начну откладывать книгу за книгой.

− Почему бы и нет? Но тут одно заделье к вам имеется, Северьян Архипыч. Надо бы проехать до этих деревень, посмотреть, где школы-то рубить будем. Ефрем Маркелыч содействия просит. Ум, говорит, хорошо, а два лучше. Что если вам отправиться теперь же? Погода ясная. Гнус на полях притих, морозцем уже прихватило. А заодно денька три-четыре у Ефрема Маркелыча погостите. Тайгу настоящую посмотрите. А я вместо вас на складе пересижу – а то в глазах рябит и в голове кружение.

− И я рад буду оказать почтение такому гостю! – ударил в ладоши синеглазый подрядчик.

− Премного благодарен, Петр Иваныч. Сказать откровенно? любопытствую я на тайгу посмотреть, да и по тракту дальше проехать. Говорят, что тракт этот за Томском уже Иркутским зовется?

− Именно так, − подтвердил Макушин. – А теперь отправляйтесь к делам, а мы с Ефремом Маркелычем еще кое о чем помаракуем.

Шубников встал, слегка поклонился и вышел за дверь.

Глава 5

Всю дорогу от Томска до Подломного Ефрем Маркелыч Белокопытов рассказывал о тракте, по которому ехали. Шубников слушал, насупившись, хмуро поглядывая по сторонам. Да и как иначе можно было отнестись к этим местам, если за каждым поворотом однажды непременно произошло смертоубийство. Здесь вот почту с деньгами варнаки подрезали. Тут в лесочке сноха свекра зарубила, чтоб его торговым капиталом завладеть. А вон в том логу шайка разбойников царев обоз с золотом подломила. Оттого и назвали деревню Подломное. Словом, было тут от чего загрустить.

Но чем дальше ехали, тем чаще в перелесках мелькали добротные дома хуторян под новыми тесовыми крышами, с высокими заборами и украшенными затейливой резьбой воротами.

«Хорошо живут, ладно. И не верится, что по тракту сплошь душегубство творится», − думал Шубников.

− А что, Ефрем Маркелыч, по хуторам не разбойники часом прячутся? − полюбопытствовал Шубников, когда неподалеку от дороги, в березняке мелькнули постройки.

− Упаси боже! Работящие мужики тут живут. Гнут храп от темна до темна. Прежде чем из землянки в дом перебраться, иной сто шкур с себя сдерет. А варнаки, те все пришлые − с Сахалина, из Нерчинска или еще каких каторжных мест. Вырвутся на волю и дуреют, как застоялый конь. Шалый народишко до безумия! Многие так и живут: сегодня сбежит, покуролесит, а назавтра снова с бритой головой!

− Вот и на Барабе Петр Иваныч кресты мне показывал…

− По всему Сибирскому тракту кресты, Северьян Архипыч. От Владимира до самого Тихого океана. Тракт как жила − вся кровь по нему течет: и скотинка, и людишки, и товары, и золотишко. Жизнь тут сильно непричесанная. А что делать…

Перед селом Подломным местность заметно переменилась. Лес стоял темный, густой − пихта да ельник. Березы, кое-где прижатые к самой дороге, стояли будто сиротки. Тракт уходил под откос, все вниз, вниз, будто в пропасть. Из леса пахнуло гнилью, в глаза бросилась прозелень болот. Да и небо как-то померкло.

− Как сумрачно! Экая же дремучесть! − не удержался Шубников, отчетливо представляя, как тут можно было «подломить» обоз с золотом.

− Ничего, сейчас переменится! − утешил его Белокопытов. Он прикрикнул на коней и взмахнул ременным бичом. И правда, вскоре дорога запетляла в гору, темный лес отступил, переменились и запахи – чище стали, прозрачнее, будто родниковой водой промытые. А еще через полчаса Шубников увидел длинную-предлинную улицу и крепкие бревенчатые дома.

− Вот мы и дома, Северьян Архипыч! Чуток отвернем в сторонку − и тут как тут мое гнездо.

Усадьба Ефрема Маркеловича Белокопытова стояла особняком от деревни. На крутом берегу желтел на кирпичном фундаменте крестовый дом с пристройкой в два этажа. Дом был новый, в светлых смоляных каплях, не успевших еще потемнеть от дождей и ветров. Над крайним окном – доска с витиеватым узором выжженной надписи: «Белокопытов Ефрем Маркелович с сыновьями». Прямо как у заправского городского купца, да только это претензия, не более того, а может быть, мечта, выраженная столь откровенно. Далеко еще Ефрему Маркеловичу до гильдии, но, по правде сказать, живет справно, не тужит, надеется на большее.

Кони остановились у ворот круто, еще чуть-чуть и вышибли бы их головами. Коренной жеребец заржал тонко и радостно. Из глубины двора послышалось ответное ржание: мать-кобылица признала сынка, откликнулась на его известие о прибытии с дальней дороги протяжным рокотком: го-го-го!

− Эй, Харитон, открывай ворота! Ты что заснул, че ли?! − закричал Ефрем Маркелович повелительно. Собаки во дворе, заслышав голос хозяина, преданно завизжали. Хозяин платил за это щедрой кормежкой, лаской и свободой от цепей на целую ночь.

Как крылья большой птицы, распахнулись створы ворот настежь, и открылся взору двор: трехэтажный амбар с клетью, коровник и загон для овец. А в самой глубине двора − навес, заставленный телегами, санями, кошевками. За двором в открытую калитку виден был огород, речка, а на спуске к ней − баня с трубой. Эге, богатая баня, по-белому топится!

Харитон, рослый мужик с черной цыганской бородой, кинулся к лошадям, но хозяин остановил:

− Перво-наперво, Харитоша, поклажу в дом снеси. Это вот чемодан барина. Его − в покои на втором этаже, а вот эти ящики и коробки − ко мне в «кабинетную». И скажи Устинье, пусть баньку протопит, пропылились мы в дороге изрядно.

− Все справим, Ефрем Маркелыч, − заверил Харитон и, разом схватив чемодан и коробки, заспешил в дом, кряхтя от натуги. Навстречу ему вышла Устинья − высокая, дородная женщина, с раскрасневшимся лицом, в цветастой кофте и юбке с оборками, поверх которых был фартук с вышивкой по подолу. Харитон передал ей просьбу хозяина.

− А ведь как знала! Воду в баню еще в обед натаскала, каменку дровами заправила, − Устинья погремела коробком со спичками. Увидев с хозяином чужого человека, услужливо склонила голову: − Нет ли чего еще унести, Маркелыч?

− Ты баньку поскорей подготовь! А где ребятенки-то?

− А где ж им быть? В поле! Опять, видать, с учительшей стрекоз ловят. Уж ее медом не корми, а дай погоняться за стрекозами, − хмыкнула Устинья.

− Ну и пусть себе ловят! Кому забава, а кому и наука. – Подрядчик значительно, с поощрением посмотрел в открытые ворота на широкую поляну, заросшую пожелтевшим разнотравьем, где гуляли его дети с учительницей. А Шубников понял этот взгляд. Вот, мол, и дети есть, и учительница при них. Уж не такие мы темные, хотя и живем в тайге.

− Мы первым делом в баню, Федотовна, а уж потом обед подавай.

− Дак ясное дело, Маркелыч! − воскликнула Устинья и бойко заторопилась к бане.

Шубников стоял возле тележки, приглядывался к людям, о которых не имел ни малейшего представления. Да и о самом Белокопытове много ли он знал? Знал лишь то, что живет подрядчик в деревне и по договору с Макушиным строит на его капиталы школы для крестьянских детей. И, пожалуй, еще то, что умен, грамотен, сметлив, любит книги и посещает сборища томских грамотеев.

Шубников пожалел, что за столь долгий срок службы у Макушина так ни разу не расспросил купца о Белокопытове. Да теперь уж поздно было жалеть об этом! Ефрем Маркелович пригласил его на крылечко широкооконной двухэтажной пристройки…

Оказавшись в доме, Шубников подивился тому, что все тут было на городской манер. Верх пристройки, куда провел его хозяин, был разделен на две комнаты. В первой − рукомойник, диван, стол с тумбами, полированные стулья. Во второй комнате − деревянная кровать, покрытая белоснежным покрывалом, столик с лампой под абажуром и книжный шкаф со стеклянными створками чуть ли не во всю длину стены. Книг, правда, пока маловато, полки не заполнены, но, видно, это дело ближайшего будущего.

− Вот тут, Северьян Архипыч, и располагайся как дома. Никто без надобности не потревожит, − сказал Белокопытов.

− А вид-то какой, господи! − ахнул Шубников, подойдя к окну, за которым виднелись река, густой кедрач, поля в редких перелесках и горизонт, подернутый позолотой.

− Ну и хорошо, что тебе по нраву, Северьян Архипыч, − не скрывая радости, сказал Белокопытов. − Располагайся покамест, а потом сходим в баньку, пообедаем или уже поужинаем чем Бог послал.

Шубников, оставшись один, щелкая замками, стал открывать чемодан. Только было взялся за пижаму, вдруг по окну промелькнула тень, будто птица порхнула в стремительном полете. Шубников пригляделся и обнаружил причину. Перед домом был бугорок, посредине которого стоял столб в железных обручах и с канатами, спускавшимися с крестовины, закрепленной на самой макушке. «Качель-исполин!» − вспомнил свое детство Шубников. Возле качели суетились человеческие фигуры: две детские и женская. Ухватившись за концы веревки, они бегали вокруг столба, подскакивали и, подобрав ноги, повисали на канатах. На женщине парусила юбка, развевались волосы, белели открывшиеся ноги. Задорным криком она подбадривала детей. Дети вдруг что-то заметили и остановились, и Шубников услышал:

− Тятенька приехал! Гостинцы привез!

И два мальчика с выгоревшими добела волосами и похожие друг на друга так, что Шубников сразу не смог бы различить их, кинулись через поляну к дому.

− Тише! Тише! Никуда он не денется! – кричала им вслед учительница, стараясь их нагнать.

Глава 6

Теперь Шубников сумел разглядеть ее. Высокая, гибкая, со светлыми распущенными волосами, в длинной синей юбке и белой кофточке с коротким рукавами. Она бежала легко, ловко перепрыгивая через кочки и ямки. «Видно это и есть учительница, которая за стрекозами гоняется», − улыбнулся Шубников. Мальчики скрылись во дворе. А девица, остановилась у калитки, пригладила волосы и не спеша вошла во двор. «И как ее сюда занесло?» − почему-то с сочувствием подумал Шубников, пожалев, что не успел рассмотреть ее лица.

По дороге из Томска Ефрем Маркелович рассказывал Шубникову, что вот уже три года минуло, как умерла его жена во время родов. Ждали они дочку, а случилось так, что ни жены, ни дочки… Случилось у ребенка и матери какое-то воспаление, и даже томские профессора, медицинские светила, не смогли ничего сделать.

В округе сочувствовали его горю. Но многие утверждали, что вдовцом ему недолго ходить: мужик видный, состоятельный, характера ровного, да и есть куда привести новую жену. А желающих войти в дом Белокопытова новой хозяйкой было хоть отбавляй! А вот только не угадали люди. По спешке своей в умозаключениях, по легкомысленной болтливости нагородили околесицу. Замкнулся в своем горе Белокопытов, зачастил в церковь, срубил на косогоре за деревней часовню и освятил ее благочинный в честь Пресвятой Ксении, именем которой была наречена покойная супруга Ефрема Маркеловича. А тут как-то по зиме еще произошел случай, который снова возбудил всех в округе: Ефрем Маркелович привез из Томска молодую учительницу для своих сыновей-близнецов, чтобы обучать грамоте и манерам, как в богатых городских семьях. И вот тут-то людишки развязали языки, и пошел по всему тракту звон-перезвон: Маркелыч-то, подрядчик, новую супружницу из города привез, видать, побрезговал нашей деревенской бабой. Да и что говорить, красив собой и деньжонки к рукам хорошо прилипают. Только и на этот раз прикусили языки охочие до всяких сплетен трактовые краснобаи. Учительница поселилась не в доме Белокопытова, а на деревне у лавочника Охрамея Пепеллеткина. На непотребное сожительство хозяина с учительницей и намека не было. Утром она шагала к дому Белокопытова с книгами, в обед возвращалась на квартиру, а в паужин снова шла в белокопытовский дом, чтоб забрать мальчишек и увести их на прогулку в кедровник, на луга или берег реки. И получалось так, хоть лопни, а не складывались сплетухи о Белокопытове и учительнице.

Когда Белокопытов и Шубников вернулись из бани, у Устиньи все было готово для гостевания. Стол покрыт скатертью и заставлен корниловским фарфором да грачевским серебром. Но куда больше впечатляли запахи и ароматы, щекотавшие ноздри и раскатывавшие слюну по языку до самых губ. «Экая мастерица Устинья! В бане квасом с медом угощала, а теперь вот закусками удивляет, каких ни в столице, ни в Москве не сыскать», − подумал Шубников и сел на стул, который любезно подвинул Белокопытов.

− А не позвать ли, Северьян Архипыч, Виргинию Ипполитовну, учительницу нашу, разделить с нами общество? – несколько смущенно взглянув на Шубникова, спросил подрядчик.

− Отчего же не позвать, Ефрем Маркелович, как вам будет угодно... Буду рад... – ответил он.

Белокопытов велел кухарке позвать учительницу к столу, но едва та направилась к двери, поспешно вскочил:

− Управляйся-ка, Федотовна, тут. Я сам схожу.

Когда он вернулся, на круглом лице его светилась улыбка. Он бережно поставил тарелки туда, где, как догадался Шубников, отводилось место учительнице. Потом

сел, внимательно осмотрел стол: все ли, мол, в порядке. Она действительно не заставила себя долго ждать. Двустворчатая дверь открылась, и учительница вошла левым плечом вперед, навстречу предзакатному свету, лившемуся в окна.

Шубников отметил, что и теперь его впечатление осталось тем же, что и в первый раз. Совсем молодая. Светло-русые волосы собраны под гребенку-заколку. Взгляд упрямый, но смягченный грустной усмешкой, как бы говоривший: «Уж не задумайте о себе придумки рассказывать. Знаю я, все про вас знаю». Эта усмешечка чуть настораживала. Но через мгновение эта усмешечка будто растворилась, и лицо ее засияло белозубой улыбкой. Шубников встал. Поднялся и Белокопытов.

− Виргиния Ипполитовна, вот мой гость, Северьян Архипыч Шубников. Служит у Петра Иваныча Макушина главным помощником. Прибыл в наши края аж из самого Петербурга.

− Здравствуйте, Северьян Архипович. Спасибо, что приехали к нам из такой дали. Может быть, и новости столичные привезли? А меня зовут Виргиния Ипполитовна, а фамилия моя Францева. Ехала учительствовать в иные места − аж за двести верст от Томска! − да вот Ефрем Маркелыч по пути перехватил.

Она пожала руку Шубникову твердо, почти по-мужски. На лице ее не отразилось ни скрытого волнения, ни обычного в таких случаях смущения от встречи с незнакомым человеком. По натуре Шубников был достаточно застенчивым, если не сказать робким. Все представлялось ему более сложным. И перед приходом учительницы он успел-таки поволноваться: «Как же я буду перед ней выглядеть? Достойно ли? Не покажусь ли столичной пустышкой?»

Ее спокойствие, простота тона, располагающая улыбка, а особенно ощутимое рукопожатие успокоили его. «Самостоятельный человек! Без дамских всхлипов и сладостей… Господи, помоги мне, грешному!» − пронеслось разом в голове Шубникова.

Не скрывал своего волнения и Ефрем Маркелович. А уж кто-кто, а он умел в любом обществе оставаться самим собой. А тут и у него самоуверенные интонации пропали. По обыкновению Белокопытов обращался со всеми на «ты», так сказать, за всяк просто, но тут что-то не позволяло ему быть с учительницей запанибрата. И ни разу не оговорился, хотя и сыпал словами без удержу.

− Вот и хорошо, Виргиния Ипполитовна, что пришли посидеть с нами. Петр Иваныч так сказал: «Повози-ка Северьяна Архипыча по нашим просторам. Пусть посмотрит, какова она, наша матушка-Сибирь, пусть сам увидит, что зазря на нее напраслину возводят, будто наш край сплошной хлад и мрак. Не так ли, Виргиния Ипполитовна? Уж вы-то осмотрелись у нас за то время, что живете здесь...

Виргиния Ипполитовна, склонив голову на бочок и поглядывая то на Шубникова, то на Белокопытова, всплеснула руками. В последних лучах солнца на мизинце ее сверкнул бриллиант в перстеньке, указывающий, что женщина она незамужняя, свободная, куда, мол, хочу, туда и лечу.

− Ах, Ефрем Маркелович, сказать, что вы угодили мне своим приглашением, все равно что ничего не сказать! Сегодня на душе у меня как-то особенно одиноко. Хотела в играх с детьми развеяться, но лишь на миг удалось. Втихомолку чуть не заплакала...

− Не мои ли баловники обидели вас? Вы бы построже с ними, Виргиния Ипполитовна. А то я им перцу задам!

− Да, что вы! Мальчики очаровательные. И не трогайте их, пожалуйста, без повода, − убежденно сказала Виргиния Ипполитовна и полуобернулась к Шубникову: − Как вы-то себя чувствуете, Северьян Архипович? Не возникло ли желание побыстрее возвратиться в Петербург? − учительница впервые посмотрела на Шубникова в упор, и взгляд ее глаз был одновременно и ласков, и мягок, и серьезен.

− Слишком мало еще живу в Сибири, чтобы иметь о ней представление. И к тому же ежедневная работа забирает и силы, и время. В душе не остается места для мечтательного взлета к новым надеждам, − сказал витиевато Шубников, и по тому, как вздрогнули брови у Виргинии Ипполитовны, понял, что слова его не понравились женщине. И он заговорил без красивостей. − Договор у меня с Петром Иванычем на два года. А как поживу подольше – тогда посмотрим.

− Что там, в России слышно? Вокруг чего кипят страсти? − спросила Виргиния Ипполитовна.

«Вот она какая! На политику разговор поворачивает... Не силен я по этой части, но от ответа не уйти», − с беспокойством подумал Шубников и нарочно не спеша, а как бы примеряясь к собеседнице, сказал:

− Судя по всему, граф Лев Николаевич Толстой вышел на поединок с Двором. Число сочувствующих ему выросло многократно.

Вероятно все, что сказал Шубников, учительнице показалось излишне общим, известным. Она собрала тонкие губы в трубочку, подула изящно на горячий соус и твердо сказала:

− Граф ничего не достигнет. Помочь крестьянам может только их совместный труд, совместные усилия. И возглавлять их должен кто-то из их среды, а не граф. Неравенство поводыря с ведомой паствой никогда еще не приносило успеха…

«Умеет говорить!» – подумал Шубников, любивший полновесное и наполненное смыслом слово и логику аргументов.

− С вами не поспоришь, Виргиния Ипполитовна! − воскликнул Шубников. − А вот только учтите: пусть колокол и неподвижен, но набат его потрясает целую округу, волнует и зовет к действию.

− Вы правы, Северьян Архипыч! Конечно так!

Ефрем Маркелович, слушая с напряжением гостей, понял, что их беседа начинает по виражам подниматься к той точке, о которой по простодушию потом можно сказать, что поговорили всласть. Да вот только пользы от такого словоречения − пшик.

− Чтоб народ до жизни хорошей дошел, Виргиния Ипполитовна, надо мастерам дать простор, – заговорил Белокопытов. − А откуда ему быть? Вот для примера, наш Сибирский тракт. Тут один лишь Петр Иваныч строит. Но где ж ему одному охватить этакую махину. Почему бы купцам Кухтерину, Шуксману, Второву не подсобить и Макушину, и тракту? Мосты построить, переправы на паровую тягу перевести, новые постоялые дворы срубить. Приходилось мне как-то с важными фельдъегерями подъезжать. Уму, говорят, непостижимо, какое неустройство на тракте. Местами лошади в грязи увязают по самые лопатки. Маята одна и растрата сил и веры в Господа Бога... А ведь коли рукастых мужиков с топорами на эту нужду бросить − скатертью тракт покроют.

Шубников бегло переглянулся с Виргинией Ипполитовной и понял, что и она думает о том же: неучтиво будет с их стороны не откликнуться на рассуждения хозяина, сделать вид, что эта тема не по их нутру.

− Истинно так, Ефрем Маркелыч! Когда мы с Макушиным ехали через Барабу, насмотрелся я на партии ссыльных и обозы переселенцев. Несчастные! Арестанты мрут на ходу под цепями, а переселенцы чуть прикрыты лохмотьями. А дожди, стужа по ночам, хотя лето на дворе. А зимой что? О господи, и за что такая горькая доля русскому человеку?! – голос Шубникова напрягся.

− А сколько слез пролито… − прошептала Виргиния Ипполитовна.

Все замолчали. Стука ножей и вилок больше не слышалось.

– Ох, извините, сплоховал малость, – вдруг спохватился Ефрем Маркелович, – может кто желает водочки или наливки рябиновой? Сам-то я с малолетства к этому не обвык...

– Спасибо. А вот только и я непьющий. Таков завет от моего дедушки, – сказал Шубников.

– Ну, а я вот выпью, если позволите, Ефрем Маркелыч. – Виргиния Ипполитовна грустно усмехнулась, подставила стопку ближе к хозяину.

– На доброе здоровье! Тогда уж и я с вами. – Белокопытов наполнил стопки водкой до краев, подал одну учительнице, вторую зажал в крепких пальцах. Чокнулся с гостьей.

– Ну, дай Бог не по последней!

Виргиния Ипполитовна выпила залпом, опередив хозяина, закусила, как заправский пьяница, кусочком ржаного хлеба и сказала:

– Не вообразите, будто пьющая я. Редко бывает. Просто сегодня на душе как-то тяжко.

– Может быть, смогу помочь чем-то? – осторожно спросил Шубников. Виргиния Ипполитовна резко замотала головой:

– Не обессудьте! Сама не люблю себя такой.

– А может еще рюмочку наливки? – предложил Белокопытов. – И я бы вместе с вами. За здоровье, например, Северьяна Архипыча. Пусть ему живется хорошо в Сибири.

«А ухватки-то у нее мужские», – подумал Шубников, поблагодарив за внимание к своей особе.

– Надолго в наши края, Северьян Архипыч? – учительница раскраснелась, оживилась, стала еще привлекательнее.

– Никак не более четырех дней намерен провести в этом доме. По делу мог бы и ранее отбыть, но Ефрем Маркелыч зовет на заимку, чудеса природы хочет показать, – сказал Шубников.

– Ишь он какой, наш Ефрем Маркелович! Вас везет, а мне пока лишь только обещает, – бросив на Белокопытова лукавую улыбку, сказала Виргиния Ипполитовна.

– Пренепременно свожу! Вы тут, в Подломном, постоянно, а Северьян Архипыч был вот, да сплыл, – развел руками Белокопытов и посмотрел на учительницу чуть растерянно.

– Да я не упрекаю, у нас еще будет случай.

– Будет непременно! Как скажете, так и будет.

«А нет ли между ними чувств?» – подумал Шубников, заметив ее улыбку и растерянность Белокопытова, но промелькнувшая мыслишка тут же улетучилась из головы. На лице женщины – простота, ясность и никаких намеков на что-нибудь иное. А в голосе – твердость, может быть, даже излишняя. И это при ее-то красоте.

На дворе совсем стемнело. Ужин закончился. Виргиния Ипполитовна стала собираться домой. «Неужели он не проводит ее?» – подумал Шубников, раздумывая, не предложить ли ей свои услуги.

– Одна не опасаетесь? – спросил он. Не успела она ответить, как заговорил Белокопытов:

– А кого тут опасаться? У нас тут мирно. По следам друг дружку узнаем.

– Прощайте, Ефрем Маркелович. Доброго отдыха, Северьян Архипович, – громко сказала учительница и не спеша вышла из дома в темноту непроглядной ночи.

Мужчины молчали, прислушиваясь к ее шагам, к визгу собак, к стуку калитки. И хозяину, и гостю было жаль, что она ушла. Словно оборвалась какая-то светлая ниточка. И стало на душе неуютно и одиноко.

Глава 7

А рано утром Белокопытов и Шубников уехали. Телега была загружена ящиками, бочонками, узлами. Хозяйство на заимке немалое, надо было и то и другое подвезти. Так объяснил Белокопытов. А ведь, кроме охоты, рыбалки, добычи кедрового ореха и ягод, в двух верстах от заимки – пасека на триста ульев. И об этом надо заботиться, чтоб не пошло добро прахом.

Ефрем Маркелович по дороге поведал гостю о своем житье-бытье. Не обо всем, конечно, подряд, а с выбором. Отец его Маркел Савельевич Белокопытов умер сорока семи лет от роду. А вскоре, как говорят, и жену позвал за собой. Ефрем молодой и неразумный остался один-одинешенек. Угляди-ка за всем! Ладно, что бабенка, с которой успел Ефрем обвенчаться по родительскому благословению, оказалась ухватистая да расторопная, как мельница, − и жернов крутит, и воду на поля качает, и муку в мешки ссыпает. И откуда бы ей все хозяйские премудрости знать? А потому, что росла сиротой, ходила по людям из деревни в деревню, чтоб кусок хлеба заработать, да лоскут холста припасти, чтобы прикрыться. Знала цену копейке! Поначалу люди шутили: «Вот, сошелся черт с младенцем. Пустит Ксюха двор Белокопытовых по ветру». А вышло все наоборот – Ксения в Подломном дом в узде держала, а сам Ефрем на заимке и по округе вожжами правил! Прибыток с заимки от промыслов, от подрядных работ на тракте, от дойных коров, от продажи ржи, овса, гречихи, меда, воска шел в один котел. Будто сам Господь подрядился Белокопытову способствовать во всех делах. Да только вечно ли это благоденствие? Удача и беда по соседству ходят. Ну, а из всех бед, одна из самых тяжких − остаться в молодости вдовцом. Недаром говорится: лучше три раза погореть, чем раз овдоветь. Ушла Ксения, и закачался дом Ефрема. В одном углу щель, в другом – прореха, успевай только поворачиваться. Кинулись к Ефрему со всех сторон свахи: «Женись поскорее, мужик, пока не пошел твой очаг на развал». А Ефрем Маркелович о женитьбе и слушать не хотел, ни к одной невесте не лежало его сердце. И приналег Ефрем Маркелович, рассчитывая лишь на собственные силы. Вот и гнет хребет с тех пор за двоих.

…До заимки было не близко. По дороге они вели разговоры о том о сем, подремывали, пригретые солнцем, пробовали вполголоса петь: «Степь, да степь широка лежит»… В одном месте на корнях лиственницы телегу так сильно тряхнуло, что вылетели из нее и покатились, подминая заросли иван-чая, бочонки, закувыркались ящички как живые.

Конь остановился, почуяв неладное. Белокопытов бросился подбирать упавший груз. Шубников стал помогать. Схватив ящик, зашитый в брезент и перевязанный шпагатом крест-накрест, но опустил его. Знаком был тот ящик ему до подробностей. Особо запомнилась буква Ф, выведенная черной мастикой на боковине. Именно такие ящики лежали в телегах, когда Шубников ехал с Петром Ивановичем в Томск. Их было всего-то штук пять, но почему-то именно к ним особо пристально отнесся каинский исправник Василий Васильевич Шароглазов. Поднимал, встряхивал, ощупывал. Возможно, что-то настораживало его, возникали какие-то догадки и подозренья. А может быть, в них-то и лежали предметы, которые не позволялось перевозить, согласно строжайшему наставлению из Москвы, потому что адресовались раскольникам. Но почему ящики эти оказались у Белокопытова? То, что их мог взять Макушин, Шубникова не удивило. Петр Иванович был человек не только добрый, отзывчивый к чужим просьбам, но и свободолюбивый, противник всякого гнета, а уж религиозного тем паче: кто во что желает верить, пусть себе верует. Но чтоб насильно обращать других в свою веру, это он считал откровенным варварством.

Шубников поднял другой ящик, положил его на телегу. Первым побуждением было сказать Белокопытову, что эти бандероли он уже видел по дороге в Томск, а заодно и поинтересоваться, этак запросто, что, мол, такое в них запечатано и почему каинский исправник Шароглазов был так подозрителен к этим ящикам. Но что-то остановило Шубникова. «А может быть, там что-нибудь тайное? В торговом деле немало потемок. Зачем лезть в чужие дела?» − решил он.

Белокопытов уложил в телегу все предметы, основательно прикрыл брезентовым пологом, и с усмешкой сказал:

− Вот, язви ее, как тряхануло! У меня аж в голове помутилось…

− А я вот ничего, − сказал Шубников. – Чуток, правда, коленку зашиб.

− Может, Северьян Архипыч, подорожник положить?

− Да не беспокойтесь, заживет!

− Ну, раз нет, так нет. Давай, давай, Пегарь, шагай веселее!

К заимке подъехали неожиданно. Березняк и осинник с обглоданными стволами деревьев − следы нашествия зайцев − кончился, стали попадаться островки кедрача, пихтовника, ельника, и вдруг из-за лохматых, разлапистых ветвей пятистенный дом, а за ним и амбар, и сарай с поленницей дров, две лодки, опрокинутые днищами вверх, шесты с металлическими крючьями, решета, на которых проветривают кедровые орехи, вентеря, морды из краснотала, пустые бочки, какие-то заготовки из кедровой древесины. Двор не был огорожен, однако обозначен кустами черемухи и рябины.

Шубников вспомнил восторженные слова Белокопытова о заимке и подумал: «Похвалялся зря, все здесь как-то обыденно». Но с этим умозаключением Шубников явно поспешил. Так, видимо, заимка и была задумана − стоять на юру укромно, не выпячиваться. Да и не перед кем было, кругом лес, да небо.

Но обещанные красоты начинались буквально в пятидесяти шагах от дома. Белокопытов не стал откладывать знакомство с местностью. Приобняв Шубникова за плечи, он вывел его за полоску кедрача. И вот тут-то гость замер. Поблизости в ложбине, окаймленной разнолесьем, нежилось в тихой неподвижности озеро. Берега его то отлогие, припадающие к самой воде, то вздыбленные, как сохатый в прыжке, тянулись до горизонта и смыкались с сиреневыми кедровыми урманами.

− А рыбы тут, а уток, а по лесам лосей и медведей – бессчетно, − окидывая рукой озеро, сказал Белокопытов.

− А пасека?

− А вот сюда, в сторонку, − кивнул Белокопытов.

− И безлюдье на многие версты?

− Да нет. Жмутся людишки к воде − и инородцы, и всякий другой пришлый люд. А чуешь, Северьян Архипыч, какие запахи тут, как легко дышится. − Белокопытов раскинул руки и с шумом стал втягивать воздух. Шубников не удержался и тоже глубоко потянул ноздрями ароматный воздух, да так глубоко, что в виски ударило.

− Ну, вот и причастились! А теперь пошли в дом, Северьян Архипыч! − засмеялся подрядчик.

Вечером, наслаждаясь тишиной и прохладой, наползавшей от озера, Белокопытов и Шубников до полуночи сидели у костра.

Для Шубникова все было вновь: темное небо в звездах, скачущие тени от костра, громкие всплески обвалов подмытых яров на озере.

− Завтра поутру, Северьян Архипыч, надо мне одно дельце справить. На рассвете я верхом отправлюсь до кедровых делянок, посмотрю, не послать ли артельку орех промышлять. Надо бы пуд-другой маслица припасти на зиму. Да и ребятенки погрызть любят. А уж Петр Иванович как благодарствует, когда привожу ему таежный гостинец.

− А мне чем заняться, Ефрем Маркелыч? – спросил Шубников.

− Спи, Северьян Архипыч, сколько влезет. А как встанешь, я к той поре уже вернусь.

− М…м… – промычал Шубников, выдав свое беспокойство: быть одному в тайге ему не приходилось.

− А ты не боись, никто тебя не тронет. Зверь и близко к заимке не подойдет. А приходит сюда только мой пасечник. Да едва ли он появится в эту пору. Нынче у него последний сбор медов.

− Ну, ладно…

− А вон на стене и ружье, и кинжал. При крайнем случае голой рукой тебя не возьмешь, − усмехнулся Белокопытов и добавил: − Да я б тебя взял с собой, да дорога-то туда верховая. А конь один, а дальше моей заимки тележной дороги нет. Либо пешком, либо верхом. А мне край как надо ненадолго отлучиться.

Шубников спал плохо, можно сказать, не спал, а лежал с закрытыми глазами. Что-то тревожило его, но, если судить здраво, тревога-то была никчемной, без оснований. На рассвете Белокопытов, спавший в первой половине избы, осторожно встал, пошуршал возле печки, два раза звякнул ложкой о котелок и вышел за дверь. И все затихло.

А Шубникова будто кто подтолкнул. Он вскочил с кровати, потер лицо ладонью и шагнул к окну. Белокопытов был от дома в пяти шагах. В утреннем сумраке Шубников увидел, как тот суетится возле коня, отчетливо рассмотрел сумы, перекинутые спереди и позади седла, в которые Белокопытов заталкивал бочонки, узлы и ящики. Нагруженный конь очень скоро превратился в бесформенное чудовище. Подведя коня к чурбаку, Белокопытов взобрался в седло и тихо отъехал от дома. Вскоре лес поглотил их, и за окном сомкнулся неподвижный сумрак.

Шубников бросился на кровать, лег на спину. «Что бы все это значило? Куда он поехал? Сказал, что будет смотреть кедровые участки, а сам загрузил коня до предела. Нет, что-то тут не то… Хитрит Ефрем Маркелыч. И зачем я ему доверился…» − проносилось в голове у Шубникова. Была минута, когда он хотел вскочить и бежать за Белокопытовым, но тут же остановил себя. «А если он к пасечнику поехал? Повез ему инструменты или посуду для меда? Вот и случится со мной конфуз. В самом деле, к чему такая горячка?»

Какое-то время он уговаривал себя, наконец успокоился и чуть-чуть вздремнул. Но часом спустя он вышел из дома, и небо в сумрачных облаках, и заунывный шум ветра, и тоскливый, хватающий за душу плеск воды в озере снова ввергли его в смятение. «Что-то недоброе задумал Белокопытов, иначе зачем ему таиться от меня?»

Шубников обеспокоенно ходил возле дома, на краю берега остановился, всматриваясь в чащобу леса. И все-то ему казалось, что кто-то приближается к дому. Не желая больше терзать себя разыгравшимся не в меру воображением, Шубников вернулся в дом, сел в угол под иконами и затих. Надо бы позавтракать, на столе − чашка с вареным мясом, краюха хлеба, завернутая в полотенце, из жбанка припахивало квасом. Но есть ему не хотелось.

…И вдруг в тишину дома ворвался отчетливый женский говорок. Он был невнятным, нескончаемо продолжительным, и разобрать в нем слова не удалось, но все отчетливее слышались интонации протеста.

− Это еще кто там?! – закричал Шубников и, вскочив, выбежал в дверь.

Глава 8

Белокопытов, взъерошенный и похожий на медведя, нес женщину. Полы ее домотканого зипуна свисали до земли, но юбка из грубой холстины завернулась,

оголяя ноги и бедра, чирики сползли со ступней и болтались, удерживаясь лишь на завязках. Она изгибалась, одной рукой отталкиваясь от груди Белокопытова, а другой цепляясь за его крепкую шею. В шагах десяти, покорно опустив голову, со сбившимся на брюхо седлом, стоял Пегарь.

− Куда вы меня несете? Заклинаю вас, отпустите! – кричала женщина истошным голосом. И кричала она по-французски.

Белокопытов что-то бормотал в ответ, и по тому, как он держал женщину, угадывалось, что он бережет ее, и ему не хочется сделать ей больно.

Уже возле дома Белокопытов опустил ее на землю. Шубников хорошо рассмотрел ее лицо белое как алебастр, трясущиеся губы, отчаянно черные глаза. Увидев Шубникова, она вскрикнула:

− Кто вы? Кто вас прислал сюда?

Она со страхом смотрела на него.

− Мадмуазель, вы не пострадали? Прошу вас, не бойтесь! – обратился к ней Шубников по-французски.

И тут Белокопытов, державший женщину за руку, рухнул на колени и закричал:

− Брат мой и друг, Северьян Архипыч, объясни ей мою душу, раскрой ей мое сердце. – Плечи его задрожали, рыдания стиснули горло, и он захрипел.

…Первый раз Ефрем Маркелович увидел ее в келье Манефы, настоятельницы раскольнического женского монастыря. Ранней весной, едва вытаяли в Верхне-Юксинских лесах редкие тропы, Белокопытов приехал сюда с той же поклажей, что и теперь: в бочонках порох, в ящичках дробь, в коробках пистоны для шомпольных курковых ружей, в связках − книги и иконы.

Поставлять в женский монастырь охотничий припас завещал Белокопытову отец. Перед смертью он позвал сына, поставил на колени около кровати и велел повторять за ним слова клятвы.

− Перед памятью предков своих клянусь, что никто, никогда, ни пытками, ни подкупом, ни лестью не выведает от меня эту тайну. Как неделимое наследие принимаю от отца моего повеление: пока живу на свете, поставлять преподобной Манефе тайные товары по ее заказу для охотничьего промысла и иные предметы раскольничьей веры. Аминь!

Сын поклялся сдержать наказ, поцеловал немощную руку умирающего отца и запомнил навсегда, в какое время и какими путями добираться до кельи Манефы. Стоило Ефрему Маркеловичу побывать здесь лишь раз, и тайна предприятия преподобной Манефы шире приоткрылась ему. Манефа снабжала остяков, тунгусов, чулымских татар, обитающих на этих таежных просторах, ружейными припасами в обмен на пушнину. Настоятельница брала соболей, выдру, колонков, горностаев, лисиц только отменного качества. Через томского купца-старовера пушнина отправлялась московскому купцу-единоверцу, а тот выставлял ее на пушных аукционах Петербурга, Парижа, Лондона, Вены и других европейских столиц.

Чтобы кругооборот не прекращался, требовалась исключительная скрытность. Откройся все это, дойди известия до властей, скит бы с землей сровняли, все тайные проделки матери Манефы наизнанку бы вывернули. От силы пять человек знали о делах Манефы, да и то не всё, а лишь ту часть цепочки, в которой они были задействованы.

Скит скрывался в таком уголке тайги, куда мог проникнуть лишь тот, кто знал тайгу и умел читать ее потаенные приметы. Монахини были расселены в землянках, в полуверсте друг от друга, прикрытых землей, а поверх замаскированных подлеском и кочкарником. Общая соборня была спрятана в овражистых развалах

высохшего русла реки, проложившей себе новый путь.

Келья Манефы стояла на берегу озера, как и заимка Белокопытовых. Тропа к ней то проявлялась на холмах, то вдруг пряталась бесследно в зарослях ельника. Но приметы, о которых поведал отец Ефрему, оставались явственными, и Ефрем Белокопытов с первого раза безошибочно достиг цели. «Сынок отцу ни в чем не уступит», − оценила его Манефа.

Однажды Ефрем Маркелович появился у Манефы с очередным грузом. Появился, как и договаривались, − втайне и без оттяжек. Старуха с батожком в руках, в домотканом азяме под опояской, встретила его с радостью. Еще бы! Истинную цену этого груза знала только Манефа, и Белокопытов, получавший за свои услуги изрядную награду, мог лишь догадываться о размерах ее барыша.

Келья Манефы представляла собой добротную избу, врытую наполовину в землю и обнесенную со всех сторон чащей. При входе в нее толстыми плахами была выгорожена прихожая, где Манефа встречала своих людей, наставляла их, поощряла, наказывала. А что было во второй половине избы, никто и не ведал − доступ туда был закрыт. Тут она жила, молилась, подсчитывала доходы и расходы раскольничьей обители, читала священные книги, размышляла о странностях бытия и постулатах своей веры, столь же жестокой, сколь и шаткой перед несообразностями жизни.

…Манефа сидела напротив Ефрема Маркеловича и, загибая пальцы, перечисляла, что привезти в следующий раз: как можно больше пороха, пистоны, дробь. Вдруг, раздались три удара палкой в доску. Пришел кто-то из своих и просит дозволения войти.

− Кого это принесло? Может тунгусский князек Увачэнка за припасами приволокся? Ты, друг Ефрем, пойди-ка вот сюда. Посиди тут, я мигом управлюсь. Не надобно, чтобы тебя видели, − сказала Манефа и открыла дверь в другую половину кельи, и прикрыла за ним тяжелую дверь.

− Кто там ломится? Заходи, − крикнула она в ответ на повторный стук.

Ефрем Маркелович осмотрелся, увидев чистый стол, лежанку с подстилкой из медвежьей шкуры, табуретки, зимнюю одежду на клепах, вбитых в бревенчатую стену. «Скупо для настоятельницы», − промелькнуло у него в уме. Но глаз зацепился за три высоких сундука под замками, стоявших у стены. Вот где, по-видимому, Манефа до поры до времени держала все, что нужно было схоронить от чужих глаз.

Белокопытов осматривал тайную обитель Манефы минуты две, когда до него донесся девичий голос на непонятном языке, напомнивший ему тот, на котором говорили между собой дочери Макушина. Голос был звонкий, совсем юный, с легкой дрожью.

− Да перестань ты тарабанить, негодная. Все равно ничего не пойму! – нетерпеливо перебивая, крикнула Манефа и, пристукнув батожком, добавила: − Поди прочь! Не до тебя мне!

И тут Ефрем Маркелович в щели между дверью и притолокой увидел девушку, которая на протянутых руках держала закопченный чайник, белую эмалированную кружку и деревянную миску с хлебом.

Зажав ладонью рот, Ефрем Маркелович сдержал крик. Перед ним стояла девушка, как две капли воды похожая на умершую жену.

− Поди прочь! Не до тебя мне! – слово в слово повторила девушка по-русски, не ошибаясь ни в одной интонации. Поспешно поставила на стол чайник, кружку и миску и выпорхнула из кельи.

Ефрем Маркелович остолбенел. «Что за видение, что за чудо? Да это же она! И за что мне ниспослал Господь счастье снова видеть ее живой и здоровой!» − пронеслось в голове Белокопытова.

− Друг Ефрем, выходи! – донеслось до Белокопытова из прихожей. Манефа готова была уже сама идти к нему, не понимая, почему он медлит.

С трудом передвигая ноги в болотных сапогах с длинными голяшками, Белокопытов вышел из своей засады, но в глазах его все еще стояла девушка, так похожая на ту далекую и незабываемую, что покинула его. «Господь Бог послал мне эту женщину за страдания мои, за грусть-кручину, истомившую душу», − думал Белокопытов, не слыша, что говорит Манефа. А та повторяла свой наказ:

− Как первый снег ляжет, чернотропье скроется, ты и приезжай, друг Ефрем, − говорила Манефа, присматриваясь к Белокопытову, к его странной перемене в лице. – Ты понял меня, Ефрем? Запомнил? – строго спросила Манефа.

− Понял, запомнил, матушка, − глухо сказал Белокопытов, пряча глаза от пронзительного взгляда старухи.

− Ну а теперь ступай! Да не вздумай без нужды по моим кельям шариться, − не по-доброму усмехнулась Манефа.

Белокопытов вышел от Манефы, но, пройдя от ее избы шагов сто, остановился, поняв, что идет вовсе не туда, где оставил коня.

«Что со мной?», − прошептал он и снова повернул к избе Манефы. Увидев зарубки на деревьях, сломанные ветки, примятый папоротник, он, опознав приметы, зашагал туда, где оставил коня. Черные глаза в пол-лица, темные волосы, выбившиеся из-под платка, гибкие руки девушки виделись ему теперь в каждом изгибе тропы, уходившей в густую чащобу.

С той поры Белокопытов потерял покой и затосковал. Он зачастил на могилу жены, чтобы забыться, надо не надо ездил в Томск и трактовые села, но образ девушки, увиденной у Манефы, стоял перед ним. И он все чаще возвращался к мысли, что сам Господь послал ее, возвращая утраченное счастье. Не медли, не терзайся сомнениями, иди навстречу своей судьбе! Но кто она? Как она появилась у Манефы в ее таежной тюрьме? Почему говорит на чужом языке?

В конце концов Ефрем Маркелович отложил все дела и отправился в скит, чтобы выследить девушку.

Три дня бродил он по тайным тропам, но ничего не достиг. Казалось, что скит покинут. Неподвижны были двери келий монахинь, не топились печи в них, не блестели огни в подслеповатых оконцах, не было и запаха очагов, на которых готовили пищу. Собак в монастыре держали на привязи, спуская с цепи только по крайней необходимости. Но обитаемое жилье в тайге опознавалось еще и по птицам. Но ни сорок, ни ворон возле людских жилищ Белокопытов не обнаружил.

Тайна открылась просто: монашенки ушли в кедровник на заготовку ореха. Манефа и на этом промысле умела неплохо зарабатывать.

Когда Белокопытов перешел в кедровые урманы, он в первый же день обнаружил монастырскую артель, услышав удары барца о стволы, женские голоса, стук решеток, на которых отбивали шелуху. В зипунах, в платках, плотно повязанных вокруг головы, в мужских броднях монашенки суетились около огромных куч кедровых шишек.

Ефрем Маркелович затаился в пихтовой чаще, встал под ветки и, раздвинув их, стал наблюдать. Ее он увидел в первые же минуты. Она несла мешок с шишками, спотыкаясь. Мешок сползал со спины и то и дело падал. Она с трудом взваливала его, а он снова падал. Монашенки хохотали, выкрикивая язвительные слова.

Была минута, когда она посмотрела в его сторону. И Белокопытов отчетливо рассмотрел ее лицо и черные глаза, в которых стояли слезы.

«Кинусь к ней и увезу на заимку. Пусть только остальные уйдут на берег»,− думал Белокопытов. Но такой случай не представился.

До самых сумерек простоял он в чаще. Женщины ушли на ночевку на песча-

ный берег под яром, где стояли шалаши и горел костер. А Белокопытов побрел на свою заимку, прикидывая в уме, что делать дальше. «Припугнуть настоятельницу надо, − решил он. − Скажу, отдай девушку, а коли не отдашь, не видать тебе больше ружейного припаса!»

Но, поразмыслив, Белокопытов понял, что Манефу не запугаешь. Разве не может она найти другого связника-поставщика, который с радостью возьмется за это и на тех же условиях? Немало таких найдется. Тогда и свой куш потеряешь, и девушку из скита не выручишь.

«Выкраду ее и следов не оставлю», − решил он окончательно. «Пусть Манефа подумает, что сгубила себя черноглазая в озере. Сколько их таких, что утопились от отчаяния!»

Но и тут были у него сомнения. Выкрасть-то он сумеет, ловкости и силы у него хватит, но это же будет насилие. Ах, знать бы ее язык, да объяснить ей, какие чувства переживает он.

Как-то раз он попытался завести разговор о раскольниках с Петром Ивановичем. Подумал даже, а не пойти ли с Макушиным на откровенность, не открыть ли ему душу?

Макушин о старообрядцах знал больше других, но до конца откровенничать не захотел.

− Давно староверы обитают на Юксе. Немножко и я им подмогал. От московских купцов старые книги передавал, обрядовую утварь, иконы... Ну как откажешь людям в помощи? И батюшка твой, Маркел Савельич, все ходы к ним знал…

Вот и все, что он вызнал от Макушина. И понял, что больше тот не промолвит ни слова.

Надежда вернулась к Белокопытову, когда в Томске появился Шубников. Нахваливая Белокопытову старшего приказчика, Петр Иванович не умолчал, что Шубников знает три языка.

− По-французски и по-немецки говорит, как по-русски. И аглицкий знает, правда чуть хуже, − пояснил Макушин.

«Ну, вот все и решилось! Дай Бог тебе здоровья, Северьян Архипыч, может быть, тебя-то мне как раз и не хватало», − возрадовался Белокопытов.

Наблюдая за скитом, он вызнал, что чаще всего черноглазая монашенка обитает возле кухни, тут и захватить ее проще простого. Или когда за водой на озеро пойдет»…

…Ее звали Луиза. Манефа же нарекла ее Секлетеей. Она рассказала об этом, когда они уселись на кедровый сутунок. Родной язык из уст Шубникова успокоил ее. Поняв, что мужчины не оскорбят и не унизят ее, она успокоилась.

− Скажи, скажи ей, брат мой, Северьян Архипыч, что целый год я слежу за ней. Мое сердце открыто для нее на всю жизнь. Пусть она посмотрит мне в глаза. Пусть заглянет в тайники моей души…

Белокопытов говорил и говорил в возбуждении.

Луиза бросила на него беглый взгляд, по-видимому, угадывая, что за необыкновенные слова он говорит, потом вопросительно и нетерпеливо посмотрела на Шубникова.

− Милый Ефрем Маркелыч, помолчите чуть-чуть, дайте мне минуту, чтобы перевести ей ваши слова, − замахал рукой Шубников.

Белокопытов замолчал. Грудь его вздымалась, крупные капли пота выступили на лбу. А Шубников тщательно, слово в слово перевел Луизе все, что говорил подрядчик. И вдруг они услышали то, что ни Шубников, ни Белокопытов и предположить не могли:

− Я видела этого господина дважды, − она кивнула на подрядчика. − Первый раз, когда он вышел от настоятельницы Манефы и потерял дорогу, а второй раз, когда он приходил к нашему стану на заготовке ореха.

− Она видела меня? О, Господи! Спроси ее, Северьян Архипыч, спроси, пожалуйста, брат мой, что она обо мне подумала?

Шубников передернул плечами. Вряд ли будет деликатным так откровенно спрашивать об этом девушку. Но Белокопытов торопил:

− Спроси, спроси ее! Пусть скажет.

Шубников понял, что Белокопытов не отстанет, и перевел вопрос. Черные глаза девушки сверкнули, а потом ее уставшее лицо вдруг осветилось улыбкой:

− Что подумала? Позавидовала той, за которой он пришел. Не один раз из келий исчезали девушки. Их уводили охотники, остяки и тунгусы…

− И они уходили по доброй воле? – спросил Шубников.

− Это лучше, чем быть рабыней, − сказала Луиза.

− Рабыней у кого? – спросил Шубников, про себя подумав: «И в самом деле, Сибирь полна неожиданностей, хоть за перо берись».

− Это большая тайна, − выдохнула Луиза, и Шубников понял, что тайна эта непроглядна, и, чтобы разглядеть, что лежит на дне бездны, надо многое узнать, до многого докопаться…

Глава 9

А Виргиния Ипполитовна продолжала заниматься с детьми Белокопытова, когда ее наконец настигло известие, которого она ждала с нетерпением, разрывавшим ее сердце.

Раз в неделю по Иркутскому тракту от Томска до Мариинска пролегала почтовая эстафета. В кожаных мешках на двух, а порой и трех-четырех подводах везли письма и посылки, газеты и книги, нередко отправленные чуть ли не с самого дальнего конца земли. По нескольку месяцев на перекладных шли казенные бумаги на имя губернаторов и исправников, золотопромышленников и торговцев, начальников тюрем и смотрителей каторжных работ. У простонародья надобность в почте была самой малой, писали порой разве что солдаты родным с места службы, да сообщали о своем житье-бытье поселенцы, отбывшие сроки на Акатуе и Сахалине, навечно обосновавшись в сибирских деревнях. А уж кому почта была желаннее всех земных радостей – так это интеллигенции, оказавшейся в этих краях по воле судьбы.

Валерьян сообщал Виргинии лишь самое существенное: жив-здоров, в намерения не внесено никаких изменений, договоренность остается в силе, этап миновал Кривощеково на Оби, и предполагается недельная остановка в Томске, а после путь продолжится дальше на восток. Он заверял Виру, что любит ее свыше всяких мер и надежда на удачу наполняет его стойкостью к невзгодам и презрением к опасностям.

Все это было написано, конечно же, не так открыто. Письмо было длинным и витиеватым, в нем перечислялись десятки имен родных и знакомых, которым автор пересылал земные поклоны и добрые пожелания на будущее. Владея ключом шифровки, Виргиния Ипполитовна без особого труда среди множества слов выискивала те, что составляли суть дела: «Если никаких задержек не будет, то по первому санному пути этап может прийти в Семилужное». А в Семилужном и должно было произойти именно то, что привело Виргинию Ипполитовну в дом Ефрема Маркеловича Белокопытова.

Кто и как все это готовил, она доподлинно не знала, ведала лишь одно − Валерьяна освободят, и ей отведена в этом не последняя роль, правда, только в самом конце цепочки. А потом они с Валерьяном должны были уйти в тайгу, в пределы

тунгусского стойбища князька Увачэнки, а уж оттуда − переход в Китай и отъезд в Европу. Но то, что план побега весьма сложен, требует дьявольской изощренности, Виргиния представляла так же, как и финансовую сторону этого замысла. Но Святослав, товарищ по Швейцарии, получил после смерти матери солидное наследство. И распорядился капиталом соответственно своим взглядам: землю роздал крестьянам, а деньги употребил на нужды угнетенных и страждущих. Но с его помощью и предполагалось решить не только финансовую сторону этого рискованного предприятия.

Непостижимо затейливой была схема побега Валерьяна. Чиновник пермской пересыльной тюрьмы должен был включить его фамилию в список этапа, направлявшегося на Нерчинские каторжные работы. В Омске, где происходила замена конвоя, Валерьяну предстояло встретиться с новым начальником команды. Уже в Томске этапы сортировали, отсеивая заболевших арестантов и формируя дисциплинарные команды особо опасных преступников. Начальник пересыльной тюрьмы взялся непременно включить Валерьяна в колонну номер семь, на которую и должны были совершить нападение около Семилужного томские боевики, имевшие немалый опыт в подобных операциях. Здесь Валерьяна и должны были забрать люди Филарета, настоятеля Юксинского мужского раскольнического монастыря. Дальше за дело брался старшина тунгусского рода Увачэнки, который в обход тракта должен был доставить Валерьяна и Виргинию по самой короткой дороге в Красноярск, откуда открывался им путь в Кяхту, а далее в Китай. Все каторжане привычно бежали на запад, им же проторили путь на восток.

Пребывание возле Семилужного было предписано Виргинии Ипполитовне друзьями Святослава. И было сказано ей, что лишь две фамилии – Голицын и Касьянов – должна она запомнить на случай передачи ей важных сообщений. Поначалу она оскорбилась, почему, мол, в таком сложном замысле ей отводится столь незаметная роль? Разве не она любит Валерьяна? Разве неспособна она на подвиг ради любимого? Но в Томске, в дешевенькой гостинице на Духовской улице, ее неожиданно посетил пожилой господин, назвавшийся опальным князем Голицыным. Он и внес ясность в ее сомнения.

− Напрасно, мадмуазель, обижаетесь. Ваша роль исключительна! Быть рядом с борцом в часы крайнего напряжения, это не только почетно, но и ответственно. Обдумайте сами все спокойно и не требуйте для себя того, что могут сделать другие…

И Виргиния Ипполитовна взяла на себя то, что подсказывали друзья. А Белокопытов словно поджидал ее со своим предложением учить его детей.

Письмо Валерьяна безумно обрадовало ее. Стало быть, все шло без малейшего сбоя. И она в сотый раз и до мельчайших деталей представила себе тот час, когда он окажется на свободе. Его нужно сразу во что-то одеть. Не в арестантской же робе ему оставаться? И напоить-накормить. Разве простое это дело в таких условиях? Но самое главное – ему нужно было дать приют, чтобы он мог после всех страданий отдохнуть и прийти в себя.

Виргиния Ипполитовна понимала, что наверняка кто-то еще думает о том же самом, однако Валерьян наверняка рассчитывает и на нее, на ее готовность в любой момент выполнить часть общих забот. Разве могло быть иначе?

− А что, Ефрем Маркелыч, не пособите ли вы мне в одном деле? – обратилась как-то учительница к Белокопытову, подкараулив его одного в доме.

− Конечно! − воскликнул без промедления подрядчик, думая, что она наверняка будет просить у него обговоренное жалованье наперед, чтобы переслать матери, коротавшей старость в одиночестве где-то в степном селе под Омском.

− Вы это о чем думаете? – насторожилась она.

− А вы? – поспешил спросить Белокопытов, и оба весело рассмеялись. «Ну тем лучше, естественнее прозвучит моя просьба», − подумала она и, посерьезнев, сказала:

− Я хотела спросить вас, Ефрем Маркелыч, вот о чем. Нельзя ли купить в ваших местах полушубок, валенки и шапку на мужчину ростом чуть меньше вашего?

Он кинул на нее вопросительный взгляд:

− Позвольте-позвольте, но вы же сказали мне, будто незамужняя.

Разговор происходил в сумерках комнаты, и он не заметил, как вспыхнули ее щеки пунцовым жаром.

− Да брата я хотела осчастливить теплой одеждой. Он десятником на строительстве Транссибирской магистрали служит, − сказала она спокойным голосом первое, что пришло ей на ум. – Зима же скоро, − добавила она, а про себя подумала: «Дура я, дура набитая! Ох, надо быть осторожной, он же сквозь землю видит!»

Но Белокопытов, кажется, поверил:

− Не велика забота, Виргиния Ипполитовна. Ближе к зиме съезжу в Томск и куплю все, что закажете. На Обрубе не только полушубок, а дом можно купить, − пошутил он.

− Спасибо вам, − отозвалась она и поспешила перевести разговор на другое – о детях, об учебниках, о необходимости своевременно запастись школьным инструментарием.

− Уж об этом не беспокойтесь! Все привезу в срок. Петр Иваныч Макушин со своего склада мне последнее отдаст.

− Замечательно, − радостно воскликнула она.

Виргиния Ипполитовна ушла домой и весь вечер казнилась своей оплошностью в разговоре с Белокопытовым.

Глава 10

И Шубников, и Белокопытов были так увлечены разговором с Луизой, что забыли о времени. А между тем оно не стояло на месте, и солнце, хотя и скрывающееся в облаках, давно перевалило зенит.

Шубников первый напомнил об этом.

− Ефрем Маркелыч, а ведь мадемуазель Луиза, наверное, проголодалась. Не очень-то мы с вами гостеприимны. И, кстати, не сильно ли рискуем, сидя вот так, на виду?

Белокопытов вздрогнул. Он забыл и о еде, и о возможных поисках Луизы. Манефа, обнаружив исчезновение девушки, могла решиться на все. Среди ее монашек были и такие, кому тайга не препон, они знали тропы и в трактовые села, и в стойбища инородцев. А если Манефа организует погоню и обнаружит беглянку, уйти ей не дадут. Бросят в яму, обрекая на голодную смерть, или того хуже − привяжут к дереву и оставят на съедение гнусу.

Судорога исказила лицо Белокопытова. Он с трудом оторвал взгляд от Луизы и заговорил с тревогой:

− Да-да, Северьян Архипыч! Я обезумел, забыл совершенно обо всем на свете. Зови ее в дом, скорее! В доме в сундуке хранится одежда, что от Ксюши осталась. Пусть приберется, переоденется. А я сей же час еду приготовлю, вот только коня расседлаю.

Луиза оглядела мужчин, будто еще раз желая убедиться наверняка, что они не сделают ей ничего дурного, потом встала и пошла за Белокопытовым. Легкую походку не могла скрыть даже бесформенная тяжелая одежда. Однако раза два она оглянулась на Шубникова, шедшего позади. И показалось ему, что посмотрела она на него с благодарностью и даже чуть улыбнулась.

«Она, кажется, довольна. Да и как не быть довольной, если все происшедшее столь фантастично: французская девица в сибирской тайге, среди раскольников! Влюбленный мужчина освобождает ее. Другой на таежной опушке говорит с ней по-французски. Расскажешь такое, никто не поверит», – подумал Шубников.

В доме Белокопытов достал из ящика одежду жены: юбку, кофту, вязанные крупной ниткой чулки, ботинки со шнурками, поддевку-безрукавку на атласе.

– Скажи ей, Северьян, если что велико или мало будет, пусть сама еще что-то посмотрит, там много всего осталось. А я пока поставлю на стол кое-какие припасы. – И он стремительно бросился из дома к амбару.

Вернулся уже с подносом в руках, на котором уместились и блюдо с кусками вяленого мяса, и тарелка с копчеными окунями, и открытые туеса с брусникой и медом. Поставив на стол поднос, Белокопытов ловко и без суеты заправил самовар водой из кадки, поджег лучинки и, убедившись, что горят они споро, сунул их в чрево самовара. Добавив туда углей, водрузил поверх гнутую трубу, соединив самовар с печкой. По дому поплыл запах горящего смолистого дерева, а вскоре самовар зашумел.

Шубников наблюдал за Белокопытовым, поражаясь его точным движениям.

«Истинно влюблен, и потому душа в восторге», – продолжал размышлять Шубников.

– Ну как, Северьян Архипыч, не обидели ли мы гостью скудностью угощения? – обеспокоенно спросил Белокопытов, присаживаясь к столу.

– Да что вы, Ефрем Маркелыч, с какой стати! Опять же мы же не готовились к встрече с ней! – воскликнул Шубников, но тут же смутился: «Я-то не готовился, а он, судя по всему, готовился, и давно. Потому и снедь припасена. Потому-то каждая жилка трепещет в нем и глаза горят огнем.

Но вот за дверью раздались шаги, и на пороге появилась Луиза. Белокопытов вскочил с табуретки, порывисто шагнул к ней навстречу, но тут же сдержал себя и отступил. Ему хотелось обнять девушку, прижать к себе, уж так она походила на умершую жену.

– Боже мой, в самый раз пришлась ей одежка Ксенюшки! – воскликнул Белокопытов. – Северьян Архипыч, посмотри-ка, вылитая Ксюшка! – И он прихватил Шубникова за плечо, который почувствовал, как дрожит его рука.

– Да не знал я и не видел вашу супругу, Ефрем Маркелыч!

– Как две капли воды! Луиза, родная, прости, что силой тебя втащил в седло. Прости и садись вот здесь. – Он подвинул француженке табуретку, глядя на нее завороженным взглядом.

– Он приглашает вас, Луиза, за стол, просит не стесняться. – Шубников не стал переводить все, что сказал Белокопытов, подумав: «Надо успокоить его. Слишком уж возбужден, не ровен час оконфузится, а потом стыдиться будет».

– Вы успокойтесь, Ефрем Маркелыч. Все у вас прекрасно. И она, уверяю вас, довольна, и лицо ее повеселело. Она совсем еще юная. и ей необходимо доброе попечение старших.

Шубников заметил, что Луиза прячет свои руки, держит ладонями вверх.

– Рыбу солили, руки солью разъело, – смущаясь, сказала Луиза, и Шубников пожалел, что излишне долго задержал взгляд на ее руках.

– Чем бы, Ефрем Маркелыч, руки ей подлечить? – обратился Шубников к Белокопытову, объяснив причину вопроса.

– Так я сейчас живицу кедровую принесу. Лучшего лекарства не сыщешь!

Взяв со стола охотничий нож, он поспешно вышел из дома.

– За лекарством пошел. Руки ваши лечить будет, – объяснил Шубников девушке.

− Это так любезно! – чуть улыбнулась она.

«Какой бурей ее сюда занесло? − подумал Шубников и украдкой осмотрел Луизу. – Что заставило ее страдать в этой глуши?»

…Белокопытов не вошел даже, а влетел. На лезвии ножа блестели ядреные капли чистейшей смолы, снятой с кедра.

− Пожалуйте! – Белокопытову очень хотелось самому взять руки девушки и смазать их. Но вдруг робость охватила его, и он попросил сделать это Шубникова.

Луиза покорно положила руки на стол, Шубников пальцем снял капли смолы с ножа и осторожно стал втирать их в трещины на руках.

− День-два подождем, и, уверяю, кроме следа от смолы, ничего не останется. Все заживет! – наблюдая за движениями Шубникова, сказал Белокопытов, и раскрасневшееся лицо его сияло удовольствием.

За столом подрядчик то и дело угощал девушку и Шубникова, подвигал им тарелки со снедью, обещая к ужину приготовить свежую дичь.

Луиза же с аппетитом и без всякого стеснения и жеманства ела все, что стояло на столе. Самовар заворковал, запыхтел, и Белокопытов залил кипяток в фарфоровый чайник, наполненный чаем и смородиновыми листьями.

Трапеза теперь протекала не спеша и, можно сказать, как-то обыденно, будто не раз и не два усаживались они за этот стол вместе. Шубников порой надолго замолкал, а без него, ясное дело, разговор вести было некому. В такие минуты Белокопытов с обожанием смотрел на Луизу и, чувствуя свою беспомощность в общении с ней, опускал голову.

После еды Луиза отправилась в горницу отдохнуть, но не успела она встать, как со двора донесся заливистый лай собак.

− Кто-то к нам припожаловал, да еще с собаками, − с тревогой сказал Белокопытов и подошел к окну. – Северьян, уведите ее в горницу от греха подальше. Одно из двух, либо пасечник пришел, либо Манефа послала дозорных. Я выйду, посмотрю…

Белокопытов одернул рубаху, выпрямился. Шубников пропустил Луизу в горницу, попросив сидеть тут, пока он сам не придет за ней. Луиза побледнела.

− Они убьют меня! У них возврата назад не бывает,− прошептала она.

− Не отчаивайтесь! Ефрем Маркелович не даст вас в обиду, − вполголоса сказал Шубников и невольно погладил ее по плечу.

Спрятав Луизу за перегородку, где стояли кровать и комод с вещами, Шубников прикрыл дверь в горницу и вышел из дома. «Коли это погоня за Луизой, пусть знают, что нас, мужчин, тут двое», − решил Шубников. Он был полон решимости защитить ее.

Выйдя на крыльцо, в распахе ворот он увидел Белокопытова и двух женщин, сидевших на конях. Они были одеты так же, как и Луиза несколько часов назад: в черных платках, длинных зипунах с опояской, на ногах чирики. В руках − ременные плетки с жесткими узлами на концах. Скитские собаки, поначалу рычавшие на Белокопытова, улеглись на лужайке, высунув длинные языки. Видать, немало они уже поколесили по тайге. И приустали.

− Откуда всадницы, Ефрем Маркелыч? – подходя, спросил Шубников.

Одна из женщин вперилась в него круглым глазом, и взгляд ее, непримиримо суровый, подсказал ему, что это и есть монастырский палач, подручная настоятельницы Манефы. Второго глаза у нее не было, и кожа, закрывавшая глазницу, была замазана какой-то бордовой краской.

− Здравствуйте, барин, − сказала негромко вторая женщина и слегка тряхнула головой в черном платке.

− Происшествие у них в ските, монашка Секлетея потерялась. Не то заблуди-

лась в тайге, не то утопилась в озере. А, может быть, тунгусы выкрали, в жены старшинке увезли, − подчеркнуто спокойно объяснил Белокопытов.

− Ну, и что они хотят от вас, Ефрем Маркелыч? – спросил Шубников.

− Спрашивают, не видел ли я Секлетею. А я объяснил, что весь день мы с вами по тайге бродили, но следов никаких не встретили.

− А к нам-то ездил ты или не ездил? Конские следы к нам ведут, − хриплым голосом сказала одноглазая и перевела свой взгляд с Шубникова на Белокопытова.

− Ездил! Я уже сказал, что ездил! А коли хочешь знать зачем, так спроси игуменью. Авось, она тебе скажет, − повышая голос, с усмешкой сказал Белокопытов.

Одноглазая вздрогнула. Мать Манефа не любила, чтоб ей задавали лишние вопросы, и всякое ненужное любопытство пресекала строгими наказаниями.

Шубников не отличался особой храбростью, в чем сам себе уже давно признался, но сейчас яростный глаз монашенки вызвал у него холодную ярость, и ему страстно захотелось осадить ее, вселить робость в ее душу.

− Ты что, подозреваешь в чем-то доброго соседа? Ты думаешь, что говоришь? Или хочешь, чтоб я в ваш скит прислал на ревизию государственных чиновников из города? – Шубников сам не узнавал себя. Он не просто говорил, он кричал, по-господски топая ногой.

Глаз заморгал часто-часто, закрылся, а когда веко снова поднялось, не ярость уже, а неохватный испуг наполнял его.

− Простите, барин, за неразумное слово, − прохрипела одноглазая и, присвистнув на коня, задергала поводьями. Собаки вскочили и кинулись впереди коней. Покачиваясь в седлах и боясь даже обернуться, монашенки растворились в лесных зарослях.

− Ну, спасибо тебе, брат! – облегченно вздохнул Белокопытов. − Уж как кстати было твое появление. Сейчас они доложат настоятельнице о твоей угрозе. А ревизии она больше огня боится. − Белокопытов готов был обнять Шубникова.

− Пойдемте, Ефрем Маркелыч, в дом, порадуем нашу гостью, что беда вроде бы миновала, − сказал Шубников, и они вошли на крыльцо, распахнув двери в сени дома.

Глава 11

Запуржило еще вечером. А к утру по всему Иркутскому тракту разыгрался такой буран, что и лес, и дорога, и подводы проезжих потонули в снежном месиве.

«Лучшей погоды для побега не придумаешь, только бы не разъяснело, не ударил мороз», − думала Виргиния Ипполитовна, вышагивая по тракту к месту будущей засады.

А за день до этого произошло то, что она давно ждала. В темноте раннего вечера ей в окно постучал всадник. Накинув на плечи пальто, она вышла за ворота.

− По поручению к вам от Касьянова. Примите. – И он, не слезая с верхов, подал ей зубило. – Предмет запасной и нужен для опознания вашей личности. Иметь при себе.

Далее всадник назвал место, где ей надлежало быть завтра от полудня до вечера, проинструктировав, как вести себя в случае неудачи. Он ускакал в темноту, не дослушав ее благодарностей.

Весь обширный сибирский тракт делился не на версты, а на станки, где партии каторжан и ссыльнопоселенцев располагались на ночевки. Как правило, это были большие села и деревни. А между станками были полустанки. Здесь партии останавливались, чтоб люди могли справить нужду, перемотать портянки, передохнуть от тяжести кандалов, перекурить. Для полустанков избирали увалы, заросшие

кустарником, чтоб с тракта не обозревался всякий, кого позвало на природу естество. Для обогрева и других нужд на таких местах ставили старые срубы овинов, амбаров, мельниц. Чаще всего крыш в этих строеньях уже не было, и дым костров, возле которых сушились бушлаты или согревалось промерзшее железо цепей, поднимался клубами в небо.

От Подломного до полустанка Еланного почитай двенадцать верст. Расстояние не такое уж значительное, если, конечно, нет ветра и бурана, как нынче. Виргиния вышла из Подломного вскоре после завтрака. Нетерпение подстегивало ее. Она была в черном полушубке, на голове пуховая шаль, на ногах серые валенки, на плече холщовая сумка с постромками, в которой лежали учебники, тетради, мыло с полотенцем. Все это для отвода глаз, на случай неожиданных вопросов, куда, мол, идти изволите? Как куда? В Семилужки, в волостное правление, к местным учителям за добрым советом, как лучше детей грамоте обучать. А зубило к чему? Как к чему? Надо же хоть что-то иметь от волков. Еще вот и спички, и клок сена, чтоб огнем зверей отпугнуть. Сказать прямо – не очень эти доводы убеждают. Но ведь все они на крайний случай, но Бог даст пронесет, зачем же предполагать самое худшее.

По плану, переданному Касьяновым, в момент остановки этапа, с которым шел Валерьян, на полустанке Еланном будет имитирован проезд почтовых подвод с расписными дугами, с бубенцами и колокольчиками. Впереди будет одна подвода, за ней вторая в две лошади, «гусем» запряженные по-сибирскому обычаю, и, наконец, третья подвода. В нее-то Виргинии Ипполитовне и нужно было без промедления сесть. А куда денут Валерьяна? Об этом ей ничего не было сказано − значит, не ее забота. Придет час − узнает.

Виргиния шла быстро. Встречных подвод было мало, и обогнала ее лишь одна, с полицейскими чинами. Но в мельтешении снега невозможно было разобрать знаки отличия на погонах.

Когда она, стряхивая таявший на щеках снег, подошла к полустанку, дым, выбивавшийся через изломы старого сруба овина, растекся по всей округе.

− Проходи, молодуха, погрейся, а то скоро этап подойдет. Выгонят нас отсюда, арестантов греть будут, − сказал мужик, заросший волосом до самых глаз.

В тепле Виргиния не нуждалась, ходьба согрела ее, но она все-таки примостилась на чурбак неподалеку от костра. Ноги изрядно устали, и она с удовольствием отдыхала, протягивая к огню руки. Однако сидеть долго не пришлось. Подъехал на коне вестовой этапа. Увидев у костра людей, принялся кричать:

− Давай-давай, топай отседова! И ты, дед, и ты, красотка!

Мужик выскочил из овина, снял с шеи коня подвесную кормушку с овсом и заторопился восвояси. Вышла и учительница. По-прежнему бешено свистел ветер, и проносились снежные вихри.

На противоположной стороне тракта − в тридцати шагах от него − на бугорке стояла часовенка с иконой Богоматери. Часовенка от времени почернела, скособочилась, но пока еще прочно выдерживала удары ожесточенного бурана. Виргиния Ипполитовна встала за часовенку и оказалась в том промежутке, который был защищен острым углом сруба от ветра. «Неплохое место − и ветра нет, и видно все, что происходит на тракте», − подумала она и привалилась плечом к бревенчатой стене.

«Бедный мой Валерьян, сколько уж он прошагал от Москвы! Где же все-таки решили друзья спрятать его? Может быть, сразу отправят к тунгусам? Говорят, умеют они прятать в тайге так, что самая ловкая ищейка не отыщет», − рассуждала про себя она.

…Тракт почти пустовал. Проскакали два верховых, через несколько минут на

рысях промчались две подводы и снова все смолкло. Наконец откуда-то издали послышался скрип саней и посвистывание, резкие, будто лай, но неразборчивые возгласы постовых. И вот показалась голова этапа. Впереди на коне ехал всадник − начальник конвоя. Вслед за ним двигались две подводы, а уж потом по четыре человека в ряд шли каторжники. Замыкали колонну три верховых на лохматых конях.

Проехав за часовню еще шагов сто, первый всадник остановился, прокричал команду. Колонна замерла, а потом стала дробиться на части. Одни пошли к овину, другие направились за увал, к кустарникам, а третья группа попятилась в сторону от дороги. Начальник конвоя спешился и прошел в овин.

«Ну, где же он, где?» − вытянув шею и напрягая глаза, искала Виргиния Валерьяна. Но опознать даже хорошо знакомого человека в этой толчее было невозможно. В одинаковых серых бушлатах, в одинаковых башлыках, укутавших шеи, каторжане были неотличимы друг от друга. «Где же он? Неужели отстал?» − волновалась Виргиния Ипполитовна. Но через минуту-другую спохватилась − так можно пропустить и подводу, которая обозначена для нее. И спохватилась вовремя. Едва этап расползся, как по тракту, позвякивая колокольцами, пронеслась одноконная подвода. Не успела она повернуть за перевал, появилась вторая, пароконная, и тоже с колокольцами. Кони были впряжены «гусем» − один конь в оглоблях, второй впереди в постромках. В широкой кошеве сидели трое мужиков в дохах. Сквозь бушевавшую снеговерть Виргиния увидела взлет какого-то черного покрывала, которое подобно огромной птице прикрыло на миг крыльями заснеженную землю. Это на Валерьяна, стоявшего у кромки дороги, набросили тулуп, завалив его в кошеву.

А вскоре появилась третья подвода. Колокольчики уныло позвякивали под дугой. Конь, постукивая подковами об оголенную ветром дорогу, круто перебирал ногами. «Пора и мне», − поняла девушка, выбежала из укрытия и кинулась навстречу подводе.

− Мне сюда заказано, − прокричала она двум мужикам в черных полушубках, сидевшим в санях.

− Быстрее! – услышала она в ответ нетерпеливый хриплый голос.

Когда отъехали от овина полверсты, этот же с мрачной усмешкой прохрипел:

− Зубило с тебя, хозяйка, причитается.

− Вот оно...

Мужчина скинул рукавицу и ловко засунул руку в сумку, достал зубило и положил в карман полушубка. Версты две ехали, не сказав ни слова. «Слава Богу, кажется, удалось», − мысленно перекрестилась Виргиния Ипполитовна, хотя мужчины настороженно посматривали на белеющие под снегом просторы.

− А что будет дальше? – спросила она, чувствуя, что пребывать в безвестности дальше не может.

− А дальше будет то, что будет, − грубовато ответил мужчина с вожжами.

Вскоре сани повернули, и неторная, слабо накатанная дорога юркнула в узкий проем густой пихтовой чащи. Тракт скрылся за сумрачным густым лесом. Через полчаса, когда на дальней поляне мелькнули высокие отдушины подвалов, в которых зимовали пчелы, откуда-то издалека донеслась стрельба.

− На тракте палят! – сказал мужчина, сидевший в санях у самой головки.

− Плохой знак! – отозвался второй.

Они вытянули шеи, насторожились, но выстрелы больше не повторились. Сердце Виргинии сжалось от недобрых предчувствий. Несмотря на ветер и мелкий снег, ей стало нестерпимо жарко, захотелось сбросить с головы шаль, расстегнуть ворот шубы.

«Никак не пойму, что они задумали? Почему нет следов от первой подводы? Куда мы едем?» − с отчаянием размышляла женщина. Но представить весь замысел боевиков, взявшихся освободить Валерьяна, ей так и не удалось. Откуда было ей знать, что три дороги, расходившиеся от тракта веером, вели к одному месту – хутору Лисицына, и самой короткой была последняя дорога, по которой и предполагалось провезти Валерьяна. Расчет был прост – оставить следы на первых двух дорогах, и в случае погони сбить преследователей на более дальний путь.

Хутор Лисицына был затерян в таком укромном уголке притрактовой тайги, что, не зная подхода к нему, найти его было невозможно не то что в буран, но даже при ярком солнце. Изба уткнулась в подножье холма, баня спряталась на берегу речки в черемуховых зарослях. Скотный двор: амбар, конюшня, хлев – укрылся в сукастых соснах.

– Тихо что-то, а пора бы им уже быть, − сказал тот, что правил конем.

− Видать, осечка, − отозвался другой, а у Виргинии Ипполитовны от его слов зашлось сердце.

− Неужели провал?! − со стоном воскликнула она.

− Бывает, − сказал возница.

− Не угадаешь, где прогадаешь, − подтвердил напарник.

Учительница поняла, что эти люди, с которыми свела ее судьба на сибирском тракте, бывалые и не первый раз участвуют в таком деле.

Когда подъехали к хутору ближе, стало ясно, что он покинут, изба не топится, людских следов нет. А где же пароконная подвода? Ведь использовать ее и задумали с целью промчать Валерьяна по проселку как можно быстрее и без промедлений отправить в тунгусское стойбище. Она должна была прийти сюда первой. Где же она задержалась? Насупились мужчины, запыхали цигарками, то и дело выходили из избы, прислушиваясь к свисту ветра…

Наступила ночь. Темнота поубавила снежную ярость, небо очистилось от туч, заблестели звезды. Виргиния Ипполитовна забилась в угол избы, старалась забыться, но не могла, ее трясло, ломило в висках, ноги отяжелели, будто повесили на них гири.

Утром на хуторе появилась, наконец, пароконная подвода. На ней приехали те трое мужчин, которых мельком видела Виргиния, стоя у часовни. По их виду, сосредоточенному и уставшему, девушка поняла, что с Валерьяном случилась беда. Она заторопилась на крыльцо.

− Валерьян убит. Мир праху его, − скинув шапку, сказал самый молодой из мужиков и широко, во всю грудь перекрестился. Помолчав, подал ей руку и тихо добавил: − Касьянов я. Через меня шли к вам его послания.

Остальные тоже сняли шапки, перекрестились, сокрушенно вздохнули, исподволь поглядывая на женщину. Земля ушла у нее из-под ног, она вскрикнула, но, ухватившись за перила крыльца, выстояла.

− Горько и тяжко! – сказал Касьянов и с размаху ударил кулаком в стену избы.

− Но почему? – онемевший язык не подчинялся ей, застывшие губы сминали слова.

− Надо же такому случиться! Варнаки приняли нас за настоящую почту, что деньги перевозит, и напали на нас. Стреляли. Валерьян под их пулю и попал.

− Боже…

− Кто же знал? Все нами было сделано чисто.

− Прошагал всю Россию, Сибирь… − Виргиния плакала навзрыд, вытирая слезы рукавичкой.

− Ночью мы его и схоронили… Одним крестом больше стало на сибирском тракте. Пусть земля ему будет пухом …

− Где похоронили?

− Покажем. Но не сейчас. Теперь всем надо по-быстрому разлететься. Пойдете по нашему следу, он выведет вас к тракту, а там свернете налево, к Подломному. Мы уходим другой дорогой, через выселки поедем к городу.

− И не тянуть бы с отходом, пока не застукали, − сказал один из молчавших мужиков.

− Двинули!

Зашагала и Виргиния по указанной дороге. В одном месте из-под самых ее ног с шумом вспорхнул глухарь. Он круто поднялся в небо, уселся на сухую вершину толстой сосны и долго смотрел вслед девушке, нетвердым шагом бредущей по прямому проселку, занесенному снегом.

Глава 12

Луиза жила в Томске на Воскресенской горе, в отдельном флигеле, скрытом в глубине двора. Хозяин дома занимался ломовым извозом, и когда с поклажей отправлялся на тракт до Мариинска или Красноярска, его не было дома неделями. Жена его часами сидела за швейной машинкой или вышивала за пяльцами. А потом относила выполненную работу в белошвейную мастерскую купца Перезвонова. Порой за весь день в доме не слышалось человеческого голоса.

− Северьян Архипыч, научи ты ее разговаривать по-нашенски, чтоб я мог объяснить ей, что лежит у меня на сердце, − просил Белокопытов Шубникова, когда они ночью вывозили Луизу с заимки, чтобы поселить в городе на тайной квартире.

Одиночество, конечно же, тяготило Луизу, но она понимала, что иного выхода нет, по крайней мере, на ближайшие месяцы.

Скрашивало время чтение французских книг, которые приносил Шубников, добывая их в семьях профессоров университета. А недели через две Шубников начал обучать Луизу русскому языку.

− Все-таки обещал я Ефрему Маркеловичу поучить вас. Учитель, может быть, из меня плохой, но, некогда в Воронеже, доводилось мне давать уроки детям богатых людей. Возможно, и у вас получится.

− Бесконечно тронута вашей добротой. Не знаю, как и когда я отблагодарю вас, но, поверьте, не забуду этого никогда, − Луиза была взволнована до слез.

Шубников принес Луизе «Русскую грамматику» Гастона Амоньера, букварь Ушинского, словарь Татищева, тетради, карандаши, набор табличек с изображением животных, птиц, предметов домашнего обихода. Все это удалось найти в книжных магазинах, на складах Петра Ивановича Макушина и в библиотеках знакомых. И труды эти были не напрасны. Луиза оказалась ученицей не только прилежной, но и способной.

По последней тележной дороге в город нагрянул Ефрем Маркелович. Он привез Луизе корзины снеди, дал денег на покупку теплой одежды. И хотя она отказывалась, он в конце концов, упросил ее взять деньги, но с ее же оговоркой, что берет она их в долг.

Белокопытов рассердился было на нее, но, услышав несколько фраз, произнесенных Луизой по-русски, так обрадовался, что обнял ее и поцеловал.

− Уж как я хочу, чтобы была ты счастлива, − сказал он девушке, смущенной его порывом. А Шубникова в тот момент Ефрем Маркелович готов был, что называется, посадить на божницу:

− Брат мой, Северьян Архипыч, ты бриллиант среди людей, потому как столь пылко отозваться на просьбу другого мог только человек большой души. Кто тебе я? Да никто! Кто тебе Луиза? Никто! Искра божья горит в тебе и сердце великое бьется в твоей груди! – пылко благодарил его Белокопытов.

В самом деле, Шубников начал заниматься с Луизой, не рассчитывая, что Белокопытов оплатит его время, которое он щедро отдавал обучению девушки. Впрочем, если бы подрядчик даже не попросил его, он сам бы взялся за ее обучение. Он не знал подробностей из жизни француженки, но отлично понимал, что оставить ее без своего внимания ему совесть не позволит.

Работы у Шубникова было свыше всякой меры. Петр Иванович Макушин платил ему хорошие деньги, однако и работу он требовал полновесной мерой. Теперь, чтобы подготовиться к своим выступлениям перед «Томским обществом» или просмотреть материал к очередному уроку с Луизой, Шубникову приходилось засиживаться до глубокой ночи.

В первое время Шубников ходил на Воскресную гору, следуя лишь своему обещанию Луизе. Но уже через несколько занятий по-настоящему увлекся ее обучением.

Луиза встречала его с волнением. И раз от разу оно проявлялось все очевиднее. Бледное лицо розовело, черные глаза сияли, алые детские губы и крутые брови приходили в движение. Девушка все время менялась, то была серьезной, то улыбалась, то казалась покорной, то становилась непослушной. Иногда ее звонкий голос словно трепетал от страха, иногда вдруг рассыпался смехом в притихшем доме. До поры до времени Шубников, казалось, ничего не замечал. Он заходил в комнату Луизы, садился за стол, приглашал девушку сесть напротив и приступал к занятиям. Он строго спрашивал, дотошно объяснял и покидал дом до следующего занятия. Но однажды все вдруг нарушилось. Занятие началось как обычно. Шубников сосредоточенно принялся спрашивать ее, но в ответ не услышал ни слова.

− Что с вами, Луиза? Почему вы молчите? – Шубников поднял голову и замолк. Бледное лицо девушки отражало смятение. В глазах, прямо устремленных на него, стояли слезы. Брови вскинулись в резком изломе. Все это было признаком ее внутреннего страдания.

«Как она прекрасна! Почему же я не замечал этого раньше? Нет, я не смогу сегодня вести урок», − подумал он и решительно встал.

− Побудьте, Луиза, одна, − сказал он. − И я должен побыть один… − добавил он. Вышел из комнаты, быстро оделся и выбежал из дома.

Он шел не спеша, сосредоточенный и угрюмый, не зная еще, печалиться или радоваться тому чувству, что вспыхнуло в его душе в этот нежданный час. Через день они встретились. Он пришел, как обычно, в назначенное время. И он, и она держались просто, доверчиво, будто день назад ничего не произошло. Когда урок закончился, он осторожно, с затаенной боязнью сказал:

− Не правда ли, прелестный вечер? На улице снег, но тихо, тепло и как-то даже ласково. И не верится, что мы в Сибири. Нет ли у вас желания погулять?

Она вспыхнула, кинулась к своему новому дешевенькому пальто, купленному хозяйкой на деньги Ефрема Маркеловича, но остановилась:

− Но достойна ли я вашего внимания? – Глаза ее смотрели с нетерпеливым ожиданием.

− Луиза, что вы говорите?! – с укоризной воскликнул Шубников и, сняв с вешалки ее пальто, помог ей надеть его.

Был действительно прелестный вечер ранней зимы. С Воскресенской горы, с того самого места, где ссыльные поляки воздвигли каменный костел, Томск обозревался от края до края. Отсюда хорошо просматривались главные улицы города, очерченные ровными линиями фонарей. Желтые пятна, мерцавшие в темноте, убегали в дальнюю даль, и казалось, что у нее, как и у неба, нет пределов. Хотелось говорить о чем-то сокровенном и непременно шепотом.

− Вам хорошо, Луиза? – спросил Шубников.

− Мне так хорошо, что я сама не верю себе, − ответила она и на полшага приблизилась к нему. Он взял ее за руку:

− Не опирайтесь на перила. Они наверняка подгнили. Можно упасть.

− С вами я ничего не боюсь.

− Я вовсе не такой храбрый, как вы думаете.

− Вы верный, а это дороже храбрости.

Они не сказали сегодня тех слов, которые готовы были сказать, но оба чувствовали, что скажут их в самое ближайшее время.

Глава 13

Три дня и три ночи промучилась Виргиния Ипполитовна, прежде чем собралась с силами и снова отправилась в дом Белокопытова, чтобы приступить к занятиям с детьми.

Ефрем Маркелович с обвязанной головой и забинтованной ногой лежал в постели. Лицо его осунулось и побледнело. Шелковистые русые волосы спутались, а густая борода торчала клочьями. Ярко-синие глаза смотрели устало, и по всему угадывалось, что его терзает боль.

− Виргиния Ипполитовна, проходите и не пугайтесь. Я всего лишь жертва несчастного случая, − хрипло вымолвил Белокопытов. Он попытался улыбнуться, но губы дрогнули и из груди вырвался стон.

− Что с вами? Что за беда случилась? И почему вы ничего не сообщили мне? Я хоть и прихворнула в эти дни, но все равно поспешила бы к вам на помощь. Вас же нужно немедленно увезти в Томск.

Виргиния Ипполитовна, как всегда, в случаях неординарных желала действовать решительно.

− Садитесь, − сказал Белокопытов и чуть приподнялся, опираясь на локоть.

− Вам не надо двигаться, − твердо сказала учительница и опустилась на табуретку. «Боже мой, куда девались его красота и вальяжность?» − подумала она.

− Нет-нет! Из своего дома я шагу не шагну! – запротестовал Белокопытов.

Белокопытов взял девушку за руку и, глядя ей в лицо, заговорил, задыхаясь:

− Вы лучше послушайте, что я скажу вам…

Виргиния Ипполитовна отметила про себя, как дрожит его рука, как горло перехватывают спазмы.

− Ну, говорите же, я слушаю. – Ей стало жалко его. Никогда еще она не видела этого сильного мужчину таким беспомощным и одиноким.

− Вам известно, что на тракте было нападение на почту? – спросил он, прикрывая глаза.

− Хозяйка говорила мне, − Виргинии Ипполитовне удалось сказать это с полным равнодушием.

− И дернул меня черт именно в этот час оказаться на тракте. Попал в самую перестрелку. Пуля содрала кожу с головы над ухом, а конь копытом разворотил ногу…

− И куда же вас понесло-то! – спросила она, подумав: «А ведь могли бы встретиться на тракте».

− В Семилужки я поехал. У десятника в Дороховой гвозди кончились. Хотел перехватить у купца Белина, чтобы в Томск не ездить за таким пустяком. А тут столкнулись люди. Кони. Пальба. Бог милостив, ведь могло было быть хуже. – Он взглянул в лицо учительницы, и она по его взгляду поняла, он очень хочет, чтобы она поверила ему, не усомнилась в том, что он попал в разбойную свалку по чистой случайности.

− Да как же это могло произойти? – спросила она, взглянув на него с недовери-

ем. Что-то мешало ей поверить ему, чего-то не хватало в этой истории для сущей правды.

− А что тут особенного, − загорячился он, уловив ее недоверие. – Почтовые подводы шли с охраной. Варнаки тоже не с голыми руками были. А тут как раз дорога делает поворот, из-за леса ничего не видно. Я и вперся в самое пекло. Уж угораздило так, что нарочно не придумаешь.

Ефрем Маркелович помолчал и добавил виноватым голосом:

− Уж вы извиняйте меня, что взволновал вас. Да все минует, все пройдет. Отлежусь дома. Иначе ведь что? Становой следствие откроет, спросы-расспросы начнет, а мне недосуг с ними возиться. Петр Иваныч со школами торопит.

− Так знайте, Ефрем Маркелович, я вам худа не сделаю. За ваше-то добро ко мне разве можно подлостью платить? – Она взглянула на него, но он успел закрыть глаза и сморщить лицо, будто от боли.

− Устинья-то у меня, что твой доктор. У нее примочки из трав пригодны в таком случае, подорожник хорош, сушеный березовый лист и смола, смола…

И словно в подтверждение его слов открылась дверь и вошла Устинья с полотенцами на деревянном подносе. Учительница встала, уступая место.

− Поправляйтесь, Ефрем Маркелыч.

− Навещайте меня, чтоб не залез я от тоски-кручины в петлю, − он готов был заплакать.

− Приду. Непременно буду приходить.

Глава 14

В середине прошлого века не только в Петербурге, Москве, Киеве, но и в отдаленных провинциальных городах начали строить особняки. Обязательным дополнением их интерьеров были зеркала: потолки, двери, стены лестниц, кабинетов, залов непременно дополнялись зеркалами. Их в Россию везли большей частью из Франции. Доставляли на телегах и санях, устанавливая в особые футляры, чтобы уберечь от ударов и сырости. Усердствовали в использовании зеркал и сибирские золотопромышленники. Один купец из Нерчинска заказал в Париже зеркало такой величины, что оно, проделав на подводах девять тысяч верст, не проходило ни в одну дверь его дома. Пришлось плотникам прорубать новые двери, чтобы внести зеркальную стену в дом.

Спрос на зеркала, естественно, повлиял на объем их производства. Россия своей потребностью ощутимо поддерживала и французский капитал, и французских мастеров-зеркальщиков.

Не менее, а может быть, и более зависимым был Париж от России и в моде. Париж создавал моду, а утверждал ее жизнестойкость Петербург.

Были случаи для Парижа и драматические. Большой свет Петербурга не принимал по каким-то причинам новые творения изощренных парижских модельеров, и тогда владельцы модных ателье и мануфактур несли огромные убытки. Вкусы петербургских модниц, не жалевших на наряды огромных денег, выплескивали на поверхность такие капризы, которые не так просто было понять. В Россию устремлялись опытные дельцы, чтобы взвесить ситуацию, вникнуть в подробности происходящего, спасти положение французских заправил моды.

…Луиза и Шубников снова стояли на площадке Воскресенской горы возле костела. Правда, вечер на этот раз был иным, чем тот первый их вечер. Дул ветер, раскачивая голые макушки тополей и черемух. Фонари, защищенные стеклами, были окутаны снежной порошей, и едва мерцали. Под стать фонарям и месяц светил робко, боязливо передвигаясь по темному небосклону.

– …Мы жили на берегу Женевского озера. Там есть маленький городок Веве. Папа с парижскими мастерами-краснодеревщиками и зеркальщиками заканчивали отделку особняка одного коммерсанта. Я училась в гимназии. Мама болела, чахла на глазах, – рассказывала Луиза. – На лето мы уехали в горы, на крестьянскую ферму. Надеялись, что целебный горный воздух поможет маме. Но… не помог. Осенью она умерла. Вскоре завершилась отделка особняка. Можно было возвращаться в Париж, где нас ждала бабушка, мать отца… Но вместо Парижа мы поехали в Москву. Папа получил заказ на отделку нового купеческого особняка в Замоскворечье. Здесь-то все и произошло…

Луиза говорила тихо, рыдания подступали к груди, теснили дыхание. Шубников слушал молча, опершись на перила лестницы. Он пробовал однажды расспросить Луизу о том, как она оказалась в Сибири, но девушка ушла от этого разговора. Он попробовал обидеться, но, подумав, осудил себя за нетерпение. «Не доверяет мне? А почему она должна доверять? Потерпим. Всему существенному нужно свое время. Если полюбит меня по-настоящему, то непременно наступит час, когда сама, без всякого принуждения расскажет. А не наступит, то Бог ей судья», – размышлял Шубников. И вот этот час наступил.

…Он слушал ее, ликуя в душе. Она делала еще один шаг навстречу его чувствам. Значит, все шло, как идет у всех на этом свете, от замкнутости к откровенности, от недоверия к преданности.

…Луиза с отцом поселились у купца Черноусова в его старом доме. Отец с другими мастерами с утра до ночи работал в новом особняке. Купец не жалел денег. Из Парижа везли ящики с зеркалами, из Италии – венецианское стекло, из Китая фарфор и лаковые панели, из Лондона – черное и красное дерево, жемчуг и перламутр.

Купец был старовером. В доме царил жесткий порядок, хотя от посторонних это всячески скрывалось. У купца была дочь, единственная наследница отцовских капиталов. Звали ее Секлетея. И купец души не чаял в дочери. На отделке дома работал немец, мастер по металлу, по вероисповеданию католик. Он влюбился в Секлетею, и девушка ответила ему взаимностью. Зная, что отец ни за что не даст согласия на замужество с иноверцем, молодые люди задумали бежать за границу. И бежали! По канонам раскольничьей веры такой поступок карался строго – ссылкой виновницы в Сибирь, в глухой таежный скит. Раскольничий собор повелел ему любой ценой разыскать дочь и доставить в скит. Но дочь была недосягаема. Вот тут и возникла мысль о подмене Секлетеи другой девушкой. В строгой тайне, конечно. Купец пообещал отцу Луизы большие деньги, если дочь на время поедет в Сибирь под именем Секлетеи.

К тому времени у отца появилась новая жена, с первого дня невзлюбившая Луизу. Шагу не ступи, слова не скажи. За все укор, за все змеиное шипение.

– Что ты теряешь? Время! А его у тебя немного. К тому дню, как замуж выходить, купец отвалит золотой кошель, – настаивал отец, помышляя о самостоятельном деле. И прежде чрезвычайно экономный, теперь отец стал просто жаден.

Долго бы колебалась Луиза, да обстоятельства вынуждали. Купец торопил с ответом, вывалив на стол крупный задаток. «Поеду!» – решила Луиза в отчаянии.

Отец Луизы и отец Секлетеи, видя ее терзания, обещали выручить ее из Сибири без промедления. Она поверила, как верят легковесным обещаниям наивные, не испытавшие еще бед от коварства, молодые люди.

В Томске встретила Луизу мать Манефа. Ей, конечно, все было известно о подмене, но свой выигрыш на чужом несчастье она не упустила. В иные дни она даже щадила новенькую, отстраняя от изнурительной работы, держала ее поближе к себе, но без больших поблажек: здесь скит, а не институт благородных девиц. А для обще-

ния с миром нет тут ни почты, ни курьеров, и дороги любопытным сюда закрыты…

Шубников представил скит, келью, мертвое безмолвие тайги, мрачное небо над лесом.

– Да, ведь это пытка. Пытка на медленном огне, и не день, и не два, а долгие месяцы! – Он порывисто обнял девушку, прижав к груди.

Они стояли молча и, может быть, стояли бы дольше, если бы к ним не подошел загулявший мужчина.

– Золотые мои, любовь оно, конечно, прекрасное чувство, но, язви ее душу, зима же на дворе! Простуда принесет нездоровье, а любовь требует силы и удали, – он хохотнул и, покачиваясь, придерживаясь за перила лестницы, скрылся в темноте.

Глава 15

Виргиния Ипполитовна навещала Белокопытова ежедневно. Он поправлялся медленно, тяжело. Раны, особенно на ноге, то заживали, то вновь воспалялись. Устинья отступилась от лечения, и уже из других деревень привозили знахарок. Но выздоровление не приходило. Угрюмые старухи бормотали над Белокопытовым заговоры, брызгали на раны водой, умывали через уголь, но все не впрок. Белокопытов нервничал, кричал на старух, гнал из своего дома и требовал найти в Большой Дороховой старика, лечившего по слухам все хвори – от падучей до сифилиса.

Наконец, старого солдата привезли к Белокопытову. Осмотрев раны, он потребовал ведро воды и полведра отрубей. Размешал отруби с какой-то травяной приправой, и, когда горячее месиво стало твердеть, сунул раненую ногу в ведро.

Белокопытов заорал на весь дом. Виргиния Ипполитовна в этот час занималась в пристройке с детьми. Услышав ужасный крик, она кинулась вниз в спальню хозяина. Белокопытов лежал, закатив глаза, с каплями пота на лбу, закусив губы.

– Что вы делаете? Прекратите немедленно! – закричала женщина на лекаря.

– Счас, барыня, счас ослобоню. Ешо просчитаю до пяти. И раз, и два… – солдат окаменело сидел на табуретке, в голосе его не было и намека на испуг. Он досчитал до пяти, вытащил ногу Белокопытова из ведра и, округляя впалые щеки, заросшие седым волосом, принялся дуть на открытую рану, залепленную разварившимися отрубями.

Когда старик, получив плату, удалился, а Белокопытов пришел в себя от перенесенной боли, Виргиния Ипполитовна снова пришла к нему. Ефрем Маркелович лежал, чуть прикрытый до бедер белым холщовым полотенцем. Постанывая, сказал:

– Уж вы извините, что встречаю в таком виде. Лекарь наказал лежать трое суток голым. От печного духа, мол, скорее затянет рану…

– Не беспокойтесь, Ефрем Маркелыч, я ведь фельдшерица по первому образованию. Два года в больнице служила. Всего насмотрелась.

– Господи, и когда же вы успели?

– Я вот что вам скажу… Таким способом лечиться… это, знаете ли, невежество и варварство…

– Уж это так, – согласился он, и в голосе послышалась усмешка.

Она окинула взглядом его крупное мускулистое тело и мысленно, помимо своей воли, заметила: «А задумали тебя родители на диво хорошо. Все до мизинчика в пропорции».

– С сегодняшнего дня оставьте бабок в покое и знайте, что лечить вас отныне буду я сама.

– Да мыслимо ли такое?! Робею я перед вами.

– Робейте. Каждому свое. Так и в Писании сказано.

На другой день Виргиния Ипполитовна потребовала ямщика и поехала в Томск.

Вернулась через два дня, нагруженная аптечными коробками. Тут были и бутылки с микстурой для примочек, и баночки с мазями, и порошки, и пакеты с бинтами, и упаковки с пинцетами, иглами, шприцами.

Белокопытов, увидев ее, засиял синью своих глаз, не сдержав радости, потому как лежать в постели ему осточертело, да и в делах заменить его никто не мог. Слава Богу, что Петр Иванович Макушин отбыл по каким-то неотложным делам в Иркутск. А иначе прискакал бы, прискакал бы в Подломное и привез бы сюда лекарей со всей Сибири.

− Господи Боже! За какие же доблести посылаешь ты мне свои благодати? – забормотал он, осеняя просветлевшее лицо и выпуклую грудь широким крестом. – Спасибо вам, Виргиния Ипполитовна, за ваши старания, вовек не забуду.

− Готовьтесь. Сейчас приложу к ноге примочки, − деловито распорядилась женщина и повязала голову белой косынкой, протерла руки спиртом из флакона.

− Полегче вроде бы стало. Может, завтра? – поежился от предчувствия новой боли Белокопытов.

− Никаких завтра! – Она сердито посмотрела на него, и то, что его красивое лицо стало растерянным, тронуло ее. «Большой, сильный, отец семейства, а на поверку − мальчишка, боится меня».

Но напрасно опасался Ефрем Маркелович. Руки у Виргинии оказались умелыми, ловкими и, хотя без боли не обошлось, каждое ее прикосновение казалось целительным.

− Скажу я вам, что лекарь ваш соображает. Устроил вам операцию по Гиппократу, болезнь одного органа лечил прижиганием другого. Кожа на ноге в волдырях, но и рана опалена. И представьте, затянула ее свежая кожица. Нагноение прекратилось. Попробуем этому помочь еще и противовоспалительными порошками. И слушайтесь меня, Ефрем Маркелыч! Ежели через три-четыре дня дело не сдвинется с места, увезу в Томск, в клинику, и без всяких разговоров.

− Может, Господь смилостивится, − проговорил Белокопытов, всматриваясь в лицо девушки. Белая косынка, повязанная по-деревенски клином, очень подходила к ее лицу. И Белокопытов подумал: «Уж, куда как хорошо! Модней любой шляпы».

− Видному человеку даже посконный мешок как парадный мундир. Все по плечу, − уже вслух продолжил Белокопытов.

− Это вы о чем? – спросила Виргиния Ипполитовна, раскручивая бинт.

− О вашем платочке.

− А-а-а, − протянула она равнодушно и принялась бинтовать ногу.

Закончив с ногой, осмотрела рану на голове.

− Повезло же вам! Чуть глубже, и оставили бы детей сиротами.

− Неужели и вы покинули бы их, Виргиния Ипполитовна? Вот был бы ужас! – он зябко передернул могучими плечами, хрустнув суставами.

− На произвол судьбы не бросила бы… Ну, не стоит говорить о том, чего не случилось. Что было, то прошло, и слава Богу!

Он заметил, что щеки ее порозовели, и в глазах промелькнула печаль.

− Они вас сильно любят. За глаза мамушкой кличут. Страсть какие болтуны, иной раз такого наговорят, что ум за разум заходит.

Учительница отмолчалась, а через мгновение сказала:

− Голову бинтовать не буду, только смажу рану мазью. Тут дело идет на поправку.

− Делайте, как вам угодно. Мое дело подчиняться, − ответил он, признаваясь себе, что ему нравится не только подчиняться ей, но и быть вместе с ней.

Она прибрала снадобья, бинты и инструменты в шкаф, кивнула головой:

– Спокойной ночи, Ефрем Маркелович.

− И вам того же, Виргиния Ипполитовна… А, может, велеть Харитону довезти вас до дома? Буран на дворе. Ишь как ветер в стенку бьется.

− Не беспокойтесь, я и сама дойду. Счастливо оставаться! – И она вышла, без стука прикрыв за собой дверь.

И вдруг он с такой острой тоской ощутил свое одиночество, что заскрипел зубами. Вот бы кого тебе в жены, думал он, задрав бороду к потолку, − и умна, и красива, и обходительна, и дети любят как родную мать… Да вот пойдет ли за меня, деревенского неуча? А ведь еще Луиза… Я же чуть ли не на кресте клялся, что люблю ее… Было ведь, было! Да только не в горячке ли? Ведь так похожа на Ксенюшку? Похожа-то похожа, а все ж не она. И к тому же неведомо, чем ее сердце к тебе отзовется… И не поговоришь, слова не скажешь, как немтырь какой-нибудь безгласный… Разве что только Шубников в ее обучении преуспеет… Дак ведь кто знает, когда такое случится? А жить бобылем так неуютно, не по-людски это, не по-божески.

Так час за часом, лежа в постели, раздумывал Белокопытов. Минутами ему казалось, что это не он думает о своей судьбе, а кто-то посторонний в тишине зимней ночи нашептывает ему на ухо всякую всячину, от которой ноет грудь и раскалывается голова.

Глава 16

И Виргиния Ипполитовна тоже не спала ночами, размышляя о своей судьбе, прикидывала, как жить дальше, что предпринять, чтоб не растратить окончательно свои силы. Гибель Валерьяна жестоко опрокинула ее расчеты на будущее.

… Они встретились с ним в Цюрихе. Он скоро должен был закончить медицинский факультет, она только-только поступила на факультет лингвистики и истории. «Все у тебя последовательно, Вира. Кончила фельдшерскую школу, отслужила два года в больнице и вот теперь − филология. Опять пойдешь к людям, опять будешь рядом с народом. Нет ничего благороднее, чем помогать людям в самом насущном, в самом необходимом. Да и учителей в России любят, почитают». Так рассуждал Валерьян, мысленно вычерчивая будущее Виргинии в бесконечных беседах о родине, об исторической роли народа, о грядущей революции.

Валерьян уехал на год раньше Виргинии. Поступил врачом в больницу, стоявшую в гуще старых улиц и переулков Москвы. Больница была низшего разряда, содержалась на паях фабрикантами, получала кое-какие дополнительные ассигнования от страховых компаний и заводских касс взаимопомощи. Пациенты больницы – сплошь мастеровые, рабочие да мещане.

Валерьян поселился во флигеле в просторной квартире из трех комнат. Кроме него жили в доме фельдшеры, аптекари, санитары, сестры милосердия − люди, скудно обеспеченные и, может быть, потому отзывчивые к нуждам других.

Удобств в доме было мало, но зато приемное отделение больницы в ста шагах, околоток срочной помощи тут же, за углом жилого флигеля, морг из красного кирпича в дальнем углу двора.

Едва Валерьян обжился на новом месте, полетели письма в Цюрих Виргинии Ипполитовне с просьбами: пришли для моей библиотеки такие-то книги, а если случалась верная оказия, то отправь европейские журналы и газеты, − но предупреждал всякий раз, что в Российской империи они хождения не имеют, а потому имеют статус противозаконных. Будь, мол, внимательна и аккуратна. Писал он все это, конечно, тайнописью. Виргиния отвечала без промедления, торопилась в книжные лавки, покупая все, что просил он. Замысел Валерьяна ей был хорошо известен − организовать в белокаменной библиотеку нелегальной литературы.

Когда Виргиния приехала в Москву, в квартире Валерьяна уже разместилась внушительная библиотека. Сам он жил в маленькой комнатке, отведя остальные под книги и бумаги. По стенам тянулись стеллажи, стояли столы, на которых в продолговатых ящиках располагалась картотека.

С целью конспирации библиотека имела научно-естественное направление. В первом ряду картотеки и на полках − книги общеизвестные, труды классиков естествознания, медицинские справочники, рецептурные своды, словари. А «крамола» была спрятана в тайниках между полками. Тут было и лондонское издание «Колокола», и листовки «Земли и воли» и «Черного передела», брошюры группы «Освобождение труда», статьи Степняка-Кравчинского, Берви-Флеровского, Плеханова, безымянные листовки, русские переводы Маркса и Энгельса, Бебеля и Каутского, рукописные отчеты о судах над Желябовым и Перовской, Петрашевским и Чернышевским, над участниками покушения на Александра Второго.

Многие врачи, служащие больницы, особенно студенты, проходившие в ее отделениях практику, широко пользовались книгами Валерьяна. В этом потоке людей были и такие, которых Валерьян без спешки, осмотрительно приобщал к чтению нелегальной литературы. Их было немного, десятка полтора, преимущественно студенты и несколько человек из числа больных, рабочие московских заводов и двое крестьян из Касимовского уезда.

Виргиния торопилась из Цюриха, так как приближался час, когда она должна была стать женой Валерьяна. Все у них было договорено, все обдумано. Виргиния воспитывалась у тетушки, и та уже не раз оказывала племяннице свою благосклонность. Помогала в учении, посылала деньги в Цюрих, одевала и обувала, пользуясь капиталом, который достался ей по наследству от умершего мужа, владельца крупной кондитерской.

Тетушка и теперь приняла все заботы о племяннице на себя. Заново была отремонтирована квартира на Тверской-Ямской, докуплена мебель, а у самой дорогой модистки заказано подвенечное платье. После венчания молодые предполагали начать совместную жизнь в тетушкином доме. Валерьяна этот вариант вполне устраивал. Его библиотека в больничном флигеле расширялась.

Но за день до свадьбы произошла катастрофа. Валерьяна арестовали. Библиотека была разгромлена, а квартира опечатана. По всей видимости, жандармы уже давно наблюдали за ним, и среди читателей оказались агенты охранки.

Виргиния Ипполитовна поняла, что судьба ее круто изменилась. Со дня на день она ждала своего ареста. Ведь в создании библиотеки она принимала самое непосредственное участие. Но время шло, а ее отчего-то не трогали.

Дней через десять Валерьяну через надзирателей камеры предварительного дознания удалось передать ей сообщение, в случае привлечения ее к допросам решительно отказываться от всех подозрений, так как нигде и ни в чем он не оставил улик о ее участии в создании библиотеки. И она посвятила всю свою энергию одному – облегчить положение Валерьяна.

Но улики против жениха были слишком очевидны. Суд приговорил его к каторжным работам, постоянных читателей и распространителей нелегального чтения суд выслал в северные районы Вологодской губернии. Все книги без исключения подлежали уничтожению, и даже медицинские справочники, в которых были обнаружены вклейки крамольного содержания. После суда Валерьяна отправили этапом в Забайкалье, на Нерчинские рудники.

Виргиния дала клятву, она будет там, где окажется Валерьян. Но товарищи решили иначе: устроить побег и переправить Валериана за границу. Виргиния, опережая этап, отправилась в Сибирь, зная, что помощь ее потребуется скоро.

Глава 17

Двадцать пять лет… Много это или мало? Совсем немного. В сущности, это всего лишь десять лет сознательного бытия, а самостоятельной жизни и того меньше. Но многое в жизни относительно, и возрастные рубежи тоже.

Если тебе уже двадцать пять лет от роду, и ты женщина, и не стала еще ни женой, ни матерью, то волей неволей задумаешься однажды, а не идут ли годы по обочине жизни, не выпадает ли твоя судьба из колеи, предназначенной Создателем человеку.

В темный буранный вечер Виргиния Ипполитовна не спеша брела к дому Белокопытова на ужин по случаю его полного выздоровления. Повод был неординарным, если учесть, что Ефрем Маркелович пролежал в постели почти три месяца. Три месяца бездействовал! Шутка ли? Без него десятник строил две школы по заказу Макушина, без него еще в одной деревне заканчивали к весеннему половодью мост через реку, и опять же снова без него в волостном селе Вороно-Пашне строили каталажку в устрашение разбушевавшихся мужиков после самовольного захвата церковной земли. И все без него! Нетерпение охватывало Ефрема Маркеловича. Эх, поскорее бы снова взяться за дело, во все вникнуть, подправить где надо, урезонить кого надо, позолотить руку исправнику за то, что пригасил происшествие на тракте… Его на все хватит, силушки ему не занимать…

Виргиния Ипполитовна вошла в прихожую, скинула шубу, сняла с головы пуховую шаль, стряхивая налипший снег.

Навстречу вышел Ефрем Маркелович в праздничном – новой тройке, белой рубашке с галстуком и штиблетах со скрипом. Он всплеснул руками:

− Боже мой! Вира, до чего же ты нынче хороша! Может, это мороз так приукрасил тебя? Смотри-ка, как горят щеки… А губы? А глаза? – он смотрел на нее с лаской и удивлением, будто видел первый раз.

− Ну, давай, Ефрем, хвали меня, хвали. Сегодня можно. Мне же как раз исполнилось двадцать пять лет. Дальше начну стареть, − засмеялась она.

− Стареть? Да ты только цвести начинаешь! Постой, а почему в черном платье? Будто траур у тебя. И как случилось, что ты ничего не сказала мне о своем дне рождения? Подарок за мной!

− А где ж гости, Ефрем? Почему тихо в доме? – Виргиния хотела скорее перевести разговор на другие темы. У нее на душе действительно был траур, ровно год назад арестовали Валерьяна.

Недавно они решили общаться запросто, на «ты». Если, конечно, детей не было рядом. За время лечения Белокопытов и Виргиния Ипполитовна как-то незаметно, само собой переговорили о многом – и о себе, и о других и почувствовали, что в их судьбах, есть что-то общее, но прежде всего одиночество – затаенное, никому не высказанное. Появилось и взаимное тяготение. Стоило Вире задержаться на час-другой, Белокопытов начинал беспокоиться и тосковать. Он звал Харитона, велел ему закладывать коня в оглобли и ехать за учительницей. А учительница… Что учительница?! И ее тоска и одиночество толкали в дом Белокопытова. Но все же до открытия сокровенных тайн было недосягаемо далеко. Да и могло ли это когда-нибудь произойти? Разве кто-то другой имел право знать, что было в ее жизни прежде? Ведь это происходило совсем в иной эпохе, которая отошла со всеми подробностями в небытие вместе с Валерьяном, отошла, чтобы никогда не возвратиться.

− А ты знаешь, Вира, я немножко слукавил. Прости. Не хочу я видеть никаких гостей, а тебя за гостью не принимаю. В доме пусто… Уехали и дети, и Харитон с Устиньей на заимку. Завтра воскресенье, занятий с ними ты проводить не будешь. Пусть отдохнут, подышат лесным духом…

− А что ж меня с ними не отправил? Я бы с большой охотой провела там денек-другой, − присматриваясь к Белокопытову и замечая его волнение, сказала Вира.

– Да, Господи Боже мой, какая же непонятливая! Что он мне, дом-то без тебя? Темница! Ну, проходи скорее в горницу, проходи. Все уже на столе собрано. И так мне хочется сегодня побыть с тобой. Даже выпить хочу… Робость холерская обуяла меня. Руки дрожат, язык немеет.

– И я сегодня имею право на стопку водки… Двадцать пять лет прожито… А что достигнуто? Что сотворено? Пустота!

– Ну уж нонче ты что-то в унынии. Повеселись малость. Каяться тебе не в чем.

– Ой ли! Уж так ли не в чем?

– Душа людская – потемки. Это так. Да только что толку от терзаний? Жизнь, как вода в половодье, все смывает.

– Утешаешь, Ефрем?

– Жить надо, Вира!

– Да… Жить как-то надо.

Они вошли в горницу, освещенную висевшей под потолком десятилинейной лампой. Круглый стол был изобилен. Устинья, умная баба, заранее догадывалась, о чем пойдет речь у хозяина. Постаралась. Да и из дома убралась на заимку, как на парусах. Бог им судья, а люди только помешают в такой необыкновенный час.

Они сели напротив друг друга. Белокопытов налил водку в стопки.

– Давай, Вира, выпьем за твои двадцать пять лет. Не знаю уж, кому как, а мне ты кажешься совсем юной, – сказал Белокопытов.

– Нет, Ефрем! Вначале выпьем за твое выздоровление. Все-таки мы в твоем доме, и я со своей круглой датой не совсем к месту… – запротестовала Виргиния, приглядываясь к Белокопытову, втайне любуясь его открытым доверчивым лицом и крупной головой с волнистыми волосами.

– Ну пусть будет так. Не стану тебе перечить. А как влип-то я! Почесть двенадцать недель отлежал. А делов, Вирушка, накопилось страсть как много! Все ж на тракте живем, им, родным, и кормимся. Ну, с Богом!

Они выпили, она аппетитно и с удовольствием, он, морщась, слегка покашливая.

Виргиния продолжала смотреть на него неотрывно и пристально. «Наверняка зазвал меня сватать в жены… А что, мужчина достойный! Надо же было родиться с такими глазами… А вот возьму и выйду за него! Окажусь сразу в народе… Хозяйкой стану… Батраков начну грамоте обучать. Доить коров научусь. Детишек ему нарожаю. Таких же ладных, как он, и синеглазых… Недаром говорят: женщина без детей – пустоцвет… Даже самые лучезарные идеи без детей – одно звонарство, мыльные пузыри, игра… Двадцать пять лет! Вот-вот и время минует, улетит, как птица в небеса. Эх, что за мысли! Видно женщина в тебе проснулась…»,– размышляла Виргиния.

– Чтой-то ты, Вира, сегодня на меня смотришь и смотришь, а? Как будто мы с тобой и в знакомстве никогда не были, – спросил Белокопытов, настораживаясь под ее пристальным взглядом.

«А что? Оригинально, необыкновенно оригинально… Женщина эмансипированная и просвещенная идет замуж за деревенского богатея…», – промелькнуло в ее голове.

– Красив ты, Ефрем. Вот потому и смотрю на тебя, – помедлив, сказала она.

– А ты сама-то разве не красавица? Вон зеркало-то, посмотрись-ка.

И она послушно обернулась, увидев себя в трюмо, стоявшем позади нее. И та, кого она увидела, весьма понравилось ей: гордая посадка головы, роскошные волосы, рассыпавшиеся по плечам, крепкий и выразительный бюст, лицо милое, нежное. «А ведь и в самом деле привлекательная», – подумала она и вздохнула.

– А ты знаешь, Вира, зачем я тебя позвал? – сказал он с волнением в голосе.

– Догадываюсь, Ефрем.

– Вот и молодец. А то я дрожу, как парнишка. Тебе двадцать пять, а мне тридцать пять будет на пасхальной неделе. Думаю, как оглушишь меня, старик, мол, а туда же в женихи лезешь…

– Не кокетничай, Ефрем! Сам про себя все знаешь.

– Да я что? Я на себя не жалуюсь еще. А вишь, судьба какова… Вдовец как-никак. И двое детей…

– Дети – твое счастье. Благодари вечно первую жену.

– Экая ты, с понятием! А другие нос воротят, жених, мол, неплох, кабы не дети. Ну так пойдешь за меня или побрезгуешь деревенским, трактовым? – Белокопытов встал, глядя на Виргинию горящими глазами.

– Ефрем, любовь не терпит расчетов. Твоя я! Твоя! – и она кинулась к нему. Он подхватил ее и поднял на сильных руках, легко и свободно.

Обвенчались они в Каюровой. Народу в церкви было мало, как говорят, Евсей, Михей, да Колупай с братом. Белокопытов не хотел выставлять напоказ трактовому люду невесту, выбрал церковь подальше да поскромнее. Знал он, какой суд-пересуд идет по селам и хуторам. Смотри-ка, что удумал подрядчик! Высватал себе в жену городскую. Она и учительница, и фельдшерица. До чего ж расчетлив мужик! А все ж не по себе сук срубил. Неизвестно куда его кривая вывезет. Как бы не начала образованная причуды выказывать. Эх, то ли дело своя, деревенская, – знай только на нее покрикивай, да кнутом помахивай, да для порядка сурово поглядывай.

– Завидуют! Завидуют, стервецы, счастью моему, – поскрипывая зубами, шептал Белокопытов.

Глава 18

Виргиния переехала в дом мужа. И началась у нее жизнь незнакомая, совсем для нее странная.

Чуть наступало утро, первой к ней спешила Устинья.

– Распорядись, хозяюшка, как и что по дому робить. Ночью Субботка отелилась, и Красушка вот-вот теленочка принесет. Будем теляток-то выхаживать на семя или на мясо начнем растить? А еще пасечник приехал, спрашивает, воск на свечной завод в Томск везти или прямо в собор Казанской Богоматери.

Виргиния Ипполитовна беспомощно моргала глазами, пожимала плечами:

– А уж ты, Устинья, сама решай, как лучше.

Но такой ответ не устраивал Федотовну.

– Да ведь как можно? Не хозяйка я. А Маркелыч – нравный мужчина, всему ведет счет, каждую соринку норовит в дело пустить.

Оно и лучше бы спросить самого Ефрема Маркеловича, да только его след простыл. Только неделю просидел он возле молодой жены, а потом запряг жеребчика в кошеву и помчался по округе по своим неотложным делам.

А дел у него и в самом деле невпроворот. Тут школа заканчивается, там церковь под купола вышла, чуть подальше по тракту амбар под казенный хлеб плотники спешно рубят, в волостном селе земство больницу задумало построить. Разве Белокопытов упустит такой подряд? Эге, не на того напали!

Устинья с мужем Харитоном поначалу-то сочувствовали новой хозяйке, не обвыклась, мол, не присмотрелась, жизнь научит уму-разуму, зайца и того, сказывают, можно обучать спички зажигать. Да только их расчеты не оправдались ни наполовину, ни на четверть, ни на одну сотую даже. Быть хозяйкой Вира не только не умела и не могла, но и не хотела всей душой.

Ефрем Маркелович, узнав как-то о явно несуразных распоряжениях жены, попробовал с любовью, с осторожностью попрекнуть Виру в упущениях. И услышал

от нее такое, что язык прикусил.

− А живи-ка сам в доме, не бросай меня по неделям одну. И учти, я тебе не приказчица, а жена! А уж если вздумал взыскивать с меня, то взыскивай за учение детей. И только! Что умею, то делаю, − гневно сказала она и долго ходила по дому хмурая.

Белокопытов приласкал ее, думал, что поплачет она и конец неприятному разговору, но ошибся. Жена замолчала на целый день, как в рот воды набрала. «Нет, не ошиблись люди. Срубил ты сук не по себе», − раздумывал он. − «Шутка сказать, не бросай меня одну по неделям. Да если он будет сидеть возле нее, как возле куклы, разве пойдут у него дела? Разве пятак обернется гривенником, а гривенник целковым? Так не то что капитала не наживешь, но и родительский спустишь!»

Свою беспомощность в управлении хозяйством понимала, конечно, и сама Виргиния, но ей и в голову не приходило беспокоиться по этому поводу. Что придумал, высчитывать доход от того или иного дела! Она знала, что хлеб и одежду дает работа. И была убеждена, раз будет работа, будет и хлеб, и одежда. Остальное ей не нужно, остальное лишь обременяет жизнь, делает тебя рабом.

Глухо, еще неосознанно, по каким-то отдаленным вспышкам Виргиния в конце первого месяца замужества стала понимать, что совершила поступок роковой. Пыталась переубедить себя, доказать себе же, что поступила правильно: «А что же делать? Валерьян невозвратен, а Ефрем любит меня всем сердцем». Но это приносило успокоение на день-два, а потом снова тоска сжимала грудь и все чаще думала она, что срок ее жизни исчерпан.

Как-то по весне, когда уже лист распустился на деревьях, а травы буйной зеленью брызнули из земли, к дому Белокопытова подъехал всадник. Нарочно ли или уж так само собой случилось, приехал он в отсутствие Ефрема, который по обыкновению колесил по округе.

− Виргинию Ипполитовну можно повидать? – постучал он в окно. Она и распахнула его, будто кто-то подтолкнул ее.

− От Касьянова вам почтение, − сказал всадник, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака измятый конверт.

Виргиния побледнела, застучала кровь в висках. Дрожащей рукой она взяла конверт.

− Сто коробов вам счастья, − поспешил сказать всадник и, кивнув головой, заспешил от дома на тракт.

− В добрый путь, − едва слышно произнесла она, но всадник уже скорой рысью удалялся по узкому проулку.

Набросив на дверь крючок, Виргиния вскрыла конверт, на котором не значилось никакого адреса, и развернула свернутый вчетверо листок из ученической тетради. Всего два слова: «Заимка Лисицына». Чуть ниже вычерчен кружок, от которого шли три линии. В конце крайней линии слева, как бы подпирая ее, была обозначена твердым нажимом скобка.

Сдерживая дыхание, Виргиния внимательно вгляделась в чертеж и сразу поняла, что на нем изображено место захоронения Валерьяна. Она была готова сейчас же кинуться, но приближался вечер и отправляться в путь, на ночь глядя, не было никакого смысла.

Утром она позвала Харитона и сказала:

− Запряги, пожалуйста, коня в тележку. Да посмирней который. Поеду в лес, надо мне привезти несколько растений. А то лето наступит, и будет поздно выкапывать. И не забудь положить в телегу лопату с топором. И еще пару корзинок побольше.

Харитону хотелось услужить хозяйке, он предложил ей поехать вместе с ней, помочь справить работу.

− Спасибо. Занимайся своим делом. Я и сама справлюсь. И уж, пожалуйста, не беспокойся, это место я еще с осени приглядела.

− Воля ваша, барыня, − учтиво поклонился Харитон, чуть улыбнувшись в усы: «Эх, хватит Маркелыч еще горюшка с этой бабой».

Оказавшись на тракте, она внимательно присматривалась к дорогам, поворачивающим от тракта вправо. Запросто можно было не заметить нужного поворота. Трава заравнивала и ступицы от телег, и колдобины от вешних потоков. Но вот обозначился первый поворот к заимке Лисицына, через версту – второй. Вира потянула правую вожжу, конь фыркнул, но послушно потянул телегу в густой березняк, перемешанный с ельником. Сторожко озираясь, присматриваясь к просеке в лесу, женщина увидела впереди громадную березу, изогнувшуюся над дорогой дугой.

«Вот она-то и есть скоба на чертеже!» − догадалась она. Под самым изгибом березы она остановила коня, взяв лопату, принялась раздвигать не сопревший еще прошлогодний бурьян. И вдруг увидела на стволе березы крест, прорубленный топором по жесткой, местами почерневшей бересте. А в трех шагах от корневищ, обнаживших свои могучие узлы, скреплявших дерево с земной твердью, открылся ее взору холмик, уже покрывшийся травкой.

− Валерьян, я пришла к тебе! – прошептала она, встала на колени и обхватила холмик раскинутыми руками. Сотрясаясь всем телом, она зарыдала.

В каком-то внезапном и ярком озарении на нее надвинулись подробности того рокового дня: пурга над трактом, напряженное ожидание этапа и подвод с боевиками, стрельба в заснеженном лесу, ночь на хуторе Лисицына и известие, что его уже нет. А потом мятежное отчаяние, схватка тоски и боли, и безразличие ко всему. И это нелепое замужество, как прыжок в омут с закрытыми глазами… И жизнь с человеком, который наверняка и есть виновник ее горя.

Она потеряла счет времени, лежала на земле и будто слышала голос Валерьяна, судившего ее страшным судом презрения.

…Белокопытов появился дома на закате. Он в ярости замахнулся на Харитона и обругал Устинью за то, что отпустили они Виргинию одну. Вскочил в седло и погнал коня что было мочи на поиски жены.

Как ни таили томские боевики все, что произошло в тот зимний вьюжный день на тракте, скрыть неизвестную могилу у лисицинской заимки им не удалось. Многие знали о ней, а тем более Ефрем Маркелович, один из участников ограбления почты, допустивший со своими трактовыми дружками такой просчет, такую горькую ошибку, что с души воротило. «Ах, недотепы безмозглые! Бросились фартовые за деньгами, не узнав даже, а взята ли наличность в банке!» − ругался тогда Ефрем Маркелович.

Когда он прискакал к березе, изогнувшейся дугой над просекой, на лесные трущобы опустились сумерки. Первое, что увидел он на фоне неба с кроваво-красными всполохами, висевшее на вожжах тело Виргинии. Конь, подойдя к ветвям дерева, шатром накрывавшим дорогу, стал жевать молодые березовые листья.

…В Томске в тот вечер, в доме Петра Ивановича Макушина, шумела свадьба Шубникова и Луизы.

А Сибирский тракт жил своей жизнью, не затихая ни днем, ни ночью. Мчались державные тройки, тащились подводы крестьян, звенели цепями этапы арестантов, отмеряли бесчисленные версты беглецы и поселенцы…

1989 год